

Об инженерном таланте прадеда Александра Бари, «холодном лете пятьдесят третьего» и коммунальном быте трех поколений художников

<http://beta.oralhistory.ru/talks/orh-2151>

🎙 17 октября 2017

Собеседник

Вельчинская Ольга Алексеевна

Ведущий

Голицына Екатерина Андреевна

Дата записи

Беседа записана 17 октября 2017 и опубликована 18 января 2019.

Введение

В первой беседе художница Ольга Вельчинская рассказывает о своих предках: о родителях мамы — рано умершей бабушке Рахили Спиваковой и дедушке Фаусте Дасковском, расстрелянном в 1938, о семье папы — о прадеде, знаменитом инженере и предпринимателе Александре Бари, о бабушке Ольге Бари-Айзенман, ученице Леонида Пастернака и учительнице многих будущих московских художников, о папе, художнике Алексее Айзенмане и маме, преподавательнице немецкого Изольде Дасковской. А также о своем детстве, коммунальном быте квартиры № 2 в доме 5 по Мансуровскому переулку и о множестве людей и событий, сопровождавших семью в разные годы. Все фотографии, кроме подписанных иначе, — из архива Ольги Вельчинской.

О семье мамы

Екатерина Андреевна Голицына: Говорите.

Ольга Алексеевна Вельчинская: Я на сегодняшний день Ольга Алексеевна Вельчинская, урожденная Айзенман. О семье моей мамы я, к сожалению, знаю довольно мало. Семейство мамы с Украины, из города Сумы. Жизнь сложилась таким образом, что, например, дедушка мой, Фауст Львович Дасковский... Такое у него было необычное имя — Фауст Львович. Я так думаю, может быть, он был первоначально Файвл, но известен как Фауст. Он до Октябрьского переворота был управляющим на одном из сахарных заводов Харитоненко, а потом, когда все случилось, начался его крестный путь: бесконечные последовательные посадки, ссылки, освобождения, лишенец и так далее, и так далее. Ссылался все дальше и дальше, и семейство его — жена, моя бабушка, Рахиль Исааковна, Спивакова урожденная, со своими тремя детьми, Татьяной, Львом и моей мамой Изольдой, Изой, — они устремлялись вослед отцу. То есть путь их начался... Мама маленькая — жило в Курске семейство, потом они оказались в Харькове, потом они оказались в Новосибирске, потом — в Томске, где случился уже последний арест дедушки 19 декабря 37-го года, и, как мы с мамой узнали шестьдесят лет спустя, он был расстрелян 29 января 38-го года.



Фауст Львович Дасковский. Конец 1920-х годов

То есть, когда мы получили из томского ФСБ эту бумажку, мама была счастлива, как ни странно, потому что все эти годы она представляла себе, как ее уже очень немолодой, практически слепой отец... его крестный путь, каково приходилось на этапах, в ссылке, в лагере. Не в ссылке, о ссылке речь не шла, потому что, когда мама в 38-м году весной узнала... К тому времени бабушка уже умерла. Бабушка умерла за год до того в Ленинграде в клинике доктора Павлова. Она была тяжело больна. Ее жизнь, история ее жизненная, в частности, дедушкины все эти пертурбации, довели ее до такого состояния, что она была психически очень тяжело больна. Скончалась молодой женщиной совсем еще. И, собственно, узнавать об отце, о его судьбе ходила шестнадцатилетняя мама, и в какой-то день их позвали, собрали большое количество людей где-то на окраине Томска. Вышел человек, влез на некую трибуну, прочел коротенький список людей с небольшими сроками заключения, а всей остальной огромной массе собравшихся сообщил, что все остальные осуждены на десять лет без права переписки. Ну, естественно, тогда никто не знал, синоним чего это. Какие-то надежды были, и они, собственно, очень не скоро развеялись. Так что судьба маминой семьи такова. Мама осталась в шестнадцать лет сиротой. Их, естественно, с конфискацией изгнали из дома. Она по каким-то углам, снимала углы. Деньги ей присылала бабушка, жившая с московской дочерью здесь, на знаменитой Каляевке, 5, так называемый Дом вдов, дом Наркоминдела. А потом чудесным образом...



Рахиль Исааковна Дасковская с дочерьми Изой и Таней

Да, мама поступила — сначала она поступила в медицинский институт после школы. Потом через полгода выяснилось, что детям осужденных, арестованных и так далее не полагается ни стипендии, ни общежития. Тогда мама пошла на курсы немецкого языка, окончила их и буквально через год она преподавала в городе Прокопьевске, в школе немецкий язык. Ужасная какая-то была школа, ужасная жизнь и так далее. Но вот потом, еще через год, то есть в 40-м году она приехала в Москву и, скрыв факт гибели, вернее, ареста отца... А благодаря тому, что у нее в руках был паспорт покойной матери, в который она была вписана — как бы она была сирота, а мама умерла своей смертью. И она поступила, как ни странно, в иняз. Потом, конечно, началась война через год. Она уехала в эвакуацию, но в 46-м году она иняз закончила, преподавала всю жизнь до пенсии. Не всю жизнь, а до пенсии (потом у нее была еще другая история), в институте МИТХТ, тонких химических технологий на Усачевке. И, собственно, ушла уже на пенсию с должности заведующей кафедрой, и так все сложилось, слава богу.

О семье отца: прапрадед Вениамин Бари и прапрабабушка Генриетта Кан

Что же касается семьи отца, то про эту семью я знаю, конечно, гораздо больше. Собственно говоря, сведения, начиная с начала XIX века. Известно мне имя и обстоятельства жизни прапрадеда: Вениамин Матвеевич Бари. Жена его была Генриетта Сергеевна Кан. Это такой был своеобразный, конечно, персонаж, судя по всему. Он был принципиальный не просто сторонник, но даже как-то он это пытался воплотить в жизнь, ассимиляции евреев. В те времена достаточно редкое явление. Он был последователь и ученик Александра Гумбольдта, который ему, как я понимаю, даже покровительствовал, потому что, как ни странно, я разрыла в каких-то интернет-дебрях... Был министр, Канкрин. Он пытался продвинуть в жизнь какие-то предложения этого Вениамина Матвеевича по поводу этой проблемы. И он был такой свободомыслящий человек, весьма образованный, полиглот, преподавал языки иностранные. Да, он был протестант, крестился, и жена его, и детей он всех крестил. И он преподавал иностранные языки в старших классах петербургских гимназий, и даже вроде как у него было какое-то частное учебное заведение. Был жутко свободомыслящий. В отпуск, когда не было у него занятий, он ездил в Швейцарию, где встречался бог знает с кем, и, в частности, известно, что существует, и даже, вроде бы, они были дома до поры до времени, в семье — переписка его с Марксом. Так мне сказали мои родственники, у которых это якобы хранилось, что эти письма были в какой-то момент уничтожены, но в какой — не могу сказать. Но, во всяком случае, существует такой, уже можно этому поверить — рассказ моей бабушки. Бабушка моя никогда не погрешила против... Никаких фантазий. Собственно, я-то бабушку застала мало, но знаю это со слов папы и тетушки своей.

”

Вот такой рассказ, как сидит бабушка (девочка, гимназистка старших классов), читает книжку. Мимо идет ее бабушка, Генриетта Сергеевна, и говорит: «Лелёша, что ты читаешь?» Бабушка говорит: «Капитал» Маркса, бабушка». Бабушка говорит: «Да-да, я помню этого милого молодого человека. Он бывал у нас в Цюрихе».

В общем, короче говоря, доигрался Вениамин Матвеевич до того, что... Да, он публиковал еще брошюры, известные их названия, где-то они существуют, в каких-то библиотеках, тоже такого марксистского направления. И доигрался он до того, что его с его многодетной огромной семьей — детей было очень много, я не знаю, все ли выжили, но чуть ли не двенадцать

человек, — даже речь шла о том, что их предлагалось, это семейство, отправить в Сибирь. Или его одного, или все семейство, я не знаю. Но благодаря тому, что Генриетта Сергеевна состояла в каких-то... Здесь, конечно, я поручиться не могу, это такой, будем считать, апокриф, что вроде бы Генриетта Сергеевна состояла в каких-то дружеских, теплых отношениях, была знакома с одной из фрейлин императрицы, этот жесткий приговор куда-то его отправить, нашего Вениамина Матвеевича, в Сибирь, поменяли на... Дали какой-то очень ограниченный срок — буквально сутки-двое, чтобы они выехали на Запад, и они отправились в Швейцарию. Дело было в 1862 году. Семейство у них было большое.

О прадеде Александре Бари — инженере, предпринимателе, меценате

Мой прадед, Александр Вениаминович Бари, ему было шестнадцать лет. Приехали они в Швейцарию, и он окончил, вероятно, какую-то гимназию и поступил в политехническую школу цюрихскую. Семейство все уехало в Америку буквально года через два-три, а наш Александр Вениаминович остался учиться в этой цюрихской школе, и в 70-м году... То есть, он прожил там, в Швейцарии, лет восемь, и, уже будучи дипломированным инженером, устроился механиком на пароход под названием Перье и на этом пароходе отправился в Америку, где поступил сначала рабочим, а потом очень быстро уже занял инженерную должность на мостовом заводе в Детройте. И как-то он так замечательно там себя проявил, что буквально через два года его пригласили главным инженером в Филадельфию, потому что там должна была открыться Всемирная выставка филадельфийская, посвященная юбилею, столетию Соединенных Штатов, где наш Александр Вениаминович принял участие в конкурсе на строительство павильонов этой ярмарки, и за свой проект, воплощенный в жизнь, получил Гран-при — золотую медаль. И об этом — у нас тоже есть некие американские дальние родственники, нашли-таки — это тоже был до поры до времени вроде бы апокриф, а вроде бы нет — нашли документы, у меня даже есть сканы этих чертежей его. Это действительно оказалась чистая правда. Кстати сказать, Евгений Борисович Пастернак с Аленой, они ездили — это было конечно, тоже в незапамятные времена, какое-нибудь начало 80-х. Даже где-то была фотография, где они сфотографировались на фоне этого павильона Бари, который, оказывается, существует и в какой-то форме функционирует по сию пору.



Александр Вениаминович Бари и Зинаида Яковлевна Бари. Филадельфия. 1870-е гг.

Сама-то фамилия Бари, конечно... Тут много каких-то есть мнений. Есть некая, вернее, была такая замечательная дама американская, Валеска Бари. Она была такая суфражистка, в общем, она даже лицо историческое. Бабушке моей она приходилась, соответственно, двоюродной сестрой. И есть ее воспоминания, они мне достались, она их написала где-то в начале 60-х годов. И мне кто-то из родственников... Я зажала. Есть у меня эти такие ветхие уже достаточно, машинописные листочки. Я худо-бедно перевела этот текст, много чего узнала. В частности, есть мнение такое, что действительно, реально эти Бари происходили из города Бари, откуда они должны были удалиться вместе с гугенотами после соответствующих разборок исторических. Поэтому потомки Бари — некоторые Бари (и на конце «у» есть), а некоторые — Бари (и на конце «и»). И вот эта Валеска, она еще в те глубоко... Наша российская ветвь ко всему этому отношения не имела, а она более свободно себя ощущала в мире, и нашлись какие-то родственники в Австралии. И они в экстазе слились, и что-то друг о друге узнали.

Что касается моего прадеда и его жены Зинаиды Яковлевны фон Грюнберг. Она была немка и происходила из семьи таких

скромных обедневших немецких, вероятно, дворян, но очень такого разлива... Но тем не менее «фон» у них сохранился в фамилии. И они, мой прекраснейший прадед и прабабка, они познакомились в Америке, в доме старшего брата Александра Вениаминовича, Генриха, Генри американского, который был женат, в свою очередь, на старшей сестре этой Эды, в русском варианте Зинаиды, фон Грюнберг. То есть таким образом два брата поженились на двух сестрах. Эти девушки фон Грюнберг, они родились и происходили из Риги. И Зинаида Яковлевна наша очень хотела, изо всех сил, вернуться в Россию. Ей здесь было как-то комфортно, хорошо. Александр Вениаминович, сделавший такую блистательную карьеру в Америке, конечно, мог и дальше продолжать там функционировать, но тут случилась эта Всемирная выставка американская, на которую приехала делегация из России. Были там и Чаплыгин, и Менделеев, список существует этих персонажей. Совсем были молодые люди, и среди них — совершенно юный, только что прямо закончил, только-только, какое-то учебное заведение, Шухов. И наш Александр Вениаминович стал их опекать — и в качестве переводчика, потом он очень способствовал, вообще их познакомил с американской промышленностью и очень большую оказал им услугу, он помог им купить разные какие-то инструменты, станки, что-то там заказать. В общем, проявил себя таким образом замечательным, что буквально через два года он уже был почетным членом какого-то руководящего органа вот в этом... Господи, сейчас у меня, конечно, вылетело из головы, но нынешний Бауманский институт, как он раньше назывался... Политехнический — вот этот институт. В общем, он уже до конца своих дней там был. Да, и вот познакомился он с Шуховым. Это, надо сказать, была судьбоносная встреча. Ну и со всеми остальными тоже, потому что их общение и даже дружба продлилась уже в российские времена. И стали его тоже очень настоятельно приглашать — приезжайте. А дело было в 1870 году, то есть начинался вот этот невообразимый, прекраснейший, но так печально закончившийся подъем российской промышленности, то есть предстояло еще несколько десятилетий расцвета, и возможности совершенно невообразимые.

И в 70-м году наш Александр Вениаминович со своей Зинаидой Яковлевной... Сынок их старший самый скончался от дифтерита в Америке, но родилась дочка Анна (домашнее прозвище — Биба), тоже человек с интересной судьбой, и они вернулись в Россию, в Петербург, где родилась моя бабушка. Нет, это я про 70-й год глупость сказала — в 70-м только приехал в Америку. Вернулись они в 78-м, в 1878. То есть он прожил в Америке около восьми лет. В 78-м они вернулись сюда, в 79-м родилась моя бабушка. Поначалу карьера его российская началась с того, что Людвиг Нобель пригласил его управляющим на свои нефтяные прииски в Баку и в Грозном, где наш Александр Вениаминович тоже был молодец и даже такое прозвище себе приобрел: «Грозный Бари». Два года он там трудился. Но ему хотелось своего дела, и поэтому он передал на некоторое время этот пост управляющего Шухову, а сам вернулся в Питер, и вместе со своим братом Эмилем, который тоже оказался в России, младшим, они попытались устроить некое предприятие, связанное с... У меня это вообще-то все записано на самом деле, но вот я очень в этих технических терминах слаба.

Е. Г.: Ну, это не обязательно.

О. В.: Это не важно. Некое предприятие, что-то это было связанное с электричеством, с освещением. Там, по слухам, по семейным причинам, швейцарская жена этого Эмиля как-то коварно себя повела, короче говоря, семейство переехало в Москву, и Александр Вениаминович организовал первую в России инжиниринговую компанию.

Называлась — инженерная контора, строительная контора инженера Бари, куда в качестве технического директора он пригласил Шухова, и, когда это все случилось, начался тридцатипятилетний совершенно какой-то немислимый, невероятный путь этих двух людей. То есть соединились гениальный инженер Шухов и чрезвычайно тоже образованный и неслабый в инженерном смысле Александр Вениаминович Бари, который, конечно, не был гением инженерным, но он был, вероятно, такого же калибра предпринимателем, и вот этот альянс их, этот дуэт... Сумели они, это известно точно, абсолютно в дружбе, взаимопонимании, тридцать пять лет они строили.



Владимир Григорьевич Шухов и Александр Вениаминович Бари. Москва. 1880-е гг.

Перечислить все, ими содеянное, нет возможности просто. Одних только мостов в Сибирь, в БАМ, условно говоря, четыреста, что ли, штук. Масса всего там: то, что мы видим в Москве ежедневно, все эти цельнометаллические перекрытия в Музее изобразительных искусств, в «Мюр и Мерилиз», «Националь», сцена Художественного театра... Перечислить — это огромное количество всего. Параллельно с работами по всей стране. Да, потом, конечно, страшно важное и огромное — это емкости для перевозки нефти, все эти танкеры. Вот этим они занимались. Невероятный размах и количество.

А кроме всего прочего, Александр Вениаминович, который хотел все расширяться, увеличивать, трудиться и прочее, он купил у фон Дервизов, сначала арендовал, а потом купил кусочек земли, а кусочек неслабый. Это, собственно, потом, в советские времена, был завод «Динамо». Выстроил котлостроительный завод, а кусочек такой: на этой территории вот этот знаменитый пруд, где утопилась бедная Лиза карамзинская, тут же церковь, где Ослябя с Пересветом похоронены, вот эта площадка. Выстроил завод котлостроительный, причем умница такой был: как бы начал с нуля, да не совсем с нуля, потому что в качестве рабочих на завод он пригласил не каких-то людей, которые ничего не умеют, не знают и надо всему обучить, а он пригласил практически весь город Гороховец, они были все потомственные котельщики. То есть он сразу пригласил людей — потомственных профессионалов.

И где-то пару лет назад у нас появился (к сожалению, он умер в прошлом году) совершенно замечательный человек Николай Иванович Андреев. Собственно, его отец работал на вот этом котлостроительном заводе. Я была поражена и тронута: оказывается, в этом Гороховце имя прадеда помнят. В каждой семье есть даже какие-то сувениры. Там было такое обыкновение: по случаю всяких юбилеев, годовщин рабочим что-то дарили значительное. И чудесным образом... Это отдельная история. Не стоит засорять, но это чрезвычайно забавно. Моя приятельница познакомилась в таких очень тоже милых обстоятельствах где-то в Пятигорске с человеком из этого города, который, услышав это имя, сказал: «А, ну конечно, господи, боже мой! Мой дед у него работал. У нас вот до сих пор дома шуба на горностаевом подбое. Мы ей укрываемся» *(смеется)*.



Дом Бари на перекрестии Архангельского, Кривоколенного и Потаповского переулков

И этот Александр Вениаминович Бари, будучи человеком западного склада рационального, он на этом заводе устроил совершенно, конечно, удивительную для того времени систему, о которой я подробно узнала из статьи журналиста Глинского, В. Глинского (не знаю, как его звали, Владимир ли он был, Виктор или кто-нибудь еще).

Когда мне было десять лет, у нас были замечательнейшие любимые наши старшие друзья жили в Малаховке (это отдельный сюжет, о них рассказать тоже стоило бы, но в другом, наверное, месте) — необыкновенный такой был Никита Константинович Мельников, совершенно особенный, а у него в Малаховке был приятель, тоже старичок уже в те времена... Они были уже очень старые. Нет, они, наверное, не были еще старики, но они были уже очень пожилые люди. И вот этот Николай Николаевич, — фамилию его я не помню, — он в качестве волонтера (а речь идет о конце 1950-х годов), — разобрал некие склады. Даже и складами не назовешь, какие-то помещения, куда за много лет до того, когда разграбляли и разрушали усадьбы, свозили и сваливали книги. И вот, значит, если будем считать так: допустим, 20-й, условно говоря, год, а дело в конце 50-х происходит, и вот эти тридцать с лишним лет почти, сорок лет эти книги там валялись, просто лежали. И вот в конце 50-х дошли руки у какого-то библиотечного ведомства, чтобы разобрать эти завалы. И Николай Николаевич туда ходил. Он был простой человек, из такой интеллигенции в первом поколении. Я помню хорошо этот образ. И он приносил нашему Никите Константиновичу, который тоже был интеллигент в первом поколении, но можно было бы подумать, что он уже я не знаю, в каком поколении интеллигент, по тому, как он был устроен, — в каком-нибудь двадцать пятом, — он приносил Никите Константиновичу что-то интересное. Никита Константинович историк был по образованию. Он очень интересовался журналом «Исторический вестник». А поскольку в десять лет я, как и все дети, читала нон-стоп утром, днем, вечером и ночью с фонарем, я тоже читала все эти «Исторические вестники», массу интересного там прочла. Но не всё читала. Я читала всякое интересное, мемуары, а какие-нибудь статьи научные — нет.

И вот однажды Никита Константинович меня вызывает к себе в комнату и говорит: «Оля! Вот сейчас ты, наверно, это не оценишь, но ты это оценишь потом. Вот я сейчас совершу поступок, который... Никогда не совершай ничего подобного, это совершенно исключено. Это единственный раз в жизни я так поступил». И вручает мне листочек, такой мелкий шрифт, который он вырезал из этого журнала «Исторический вестник». И там как раз про прадедушку Бари и про его завод подробнейший репортаж. Причем это он не все — там что-то еще осталось. Вот это единственное, что он решил вырезать. Репортаж о том, как был устроен этот завод, какие условия были у этих рабочих. Причем совершенно какие-то по тем временам необыкновенные вещи. Ну, вероятно, он был не единственный, я так думаю, были еще такие замечательные прогрессивные фабриканты и предприниматели. Но очень интересно. Я потом уже этот текст запустила — сначала был опубликован в каком-то тексте про семью в «Нашем наследии», в книжке у меня, и он теперь заполняет все тексты и статьи про Бари. Но на самом деле он у меня, оригинал, это от меня все пошло. Но это очень здорово, очень интересно. Можно было бы, конечно, его прочитать, потому что он стоит того.



Старшие дети Бари: Анна, Ольга, Евгения, Виктор, Лидия, Владимир. 1 января 1889

В общем, все здесь шло у этой конторы прекрасно. Александр Вениаминович был большой меценат и благотворитель, естественно, как и полагалось всем тем прекрасным людям, которые могли бы, вероятно, сделать Россию совершенно блистательной во всех смыслах страной, но расклад какой-то иной получился. Есть замечательные мемуары, написанные Евгенией Александровной Нерсесовой, мамой той самой Риночки, в которую был влюблен Сергей Голицын. Она уже в старости по просьбе, собственно говоря, детей этой Риночки, по просьбе Юры, моего троюродного брата, который только что звонил мне по телефону, написала эти воспоминания, совершенно удивительные, и там какие-то рассказы поразительные. Например, один из рассказов... Ну, они все пожилы — то есть эта пара прекрасная, Зинаида Яковлевна и Александр Вениаминович, родили всего десять детей. Старший мальчик в младенчестве умер, а остальные девять прожили долгие жизни, и я даже как-то не поленилась, посчитала, и эта пара подарила своим детям, не считая Сашеньку умершего, в общей сложности что-то шестьсот тридцать лет жизни. Дольше всех прожила Лидия Александровна Воскресенская. Она умерла в девяносто шесть лет.

Е. Г.: Вернемся...

О. В.: Да. Извините.

Е. Г.: А то мы уплыли далеко. К вашим родным.

О бабушке — художнице Ольге Бари

О. В.: К моим родным. Да, хорошо, возвращаюсь. Значит, моя бабушка. Моя бабушка — вторая дочь Александра Вениаминовича Бари и Зинаиды Яковлевны. Ее жизнь сложилась таким образом. Там, надо сказать, все дети достаточно были яркие люди. После революции пять дочерей, которые вышли замуж за российских подданных (и они же долгое время были американские подданные), остались здесь и прожили свои сложные жизни — такие, как полагается прожить, со всеми компонентами, а три сына и младшая дочь, которая не была замужем к тому времени, Катя, они оказались в Америке. Но там тоже были непростые дороги, хотя они все были подданные американских Соединенных Штатов. И туда же уехала в 25-м году Зинаида Яковлевна, жена Александра Вениаминовича. Сам он умер в 13-м году, не дожив, буквально накануне, то есть за год с небольшим, в апреле 13-го года. Ему было 63, кажется, или 64 года. Он 47-го года. Ну да, 66 лет ему было. После онкологической операции, не приходя, я так понимаю, в сознание. Были похороны, о которых тоже много свидетельств. Все имеются у нас эти газетки, всякие очерки, «Русское слово», «Утро России» и прочее.



Фотография — подарок детей к серебряной свадьбе родителей. 1898 г. На первом плане: Екатерина, Анна, Мария, Виктор, Георгий и бабушка Генриетта Сергеевна Бари; стоят: Владимир, Лидия, Ольга, Евгения

И возвращаюсь тогда я к бабушке. Бабушка окончила Первую Московскую гимназию, поступила на курсы — не сразу, потому что там был какой-то кусок, когда эти курсы не функционировали. Как только они снова возродились, она поступила на курсы Герье. Даже есть ее билет вступительный под номером девять, прямо кинулась сразу поступать, хотела быть историком. Действительно училась на этих курсах, закончила их. Совершенно обожала Трубецкого, Герье, кого-то она больше любила... В общем, по-настоящему в это дело врубилась. Была совершенно счастлива.



Аттестат Ольги Бари. 1895

Но в 903-м году она оказалась... Может быть, в 902-м, она оказалась впервые в Италии, и Италия на нее произвела такое впечатление, что, вернувшись в Москву, она участь свою решила переменить и пошла учиться рисовать к Пастернаку, Леониду Осиповичу. Я так не знаю, я как бы реконструировала ситуацию, почему именно Пастернак. Не только потому,

что они жили неподалеку друг от друга: наши жили на углу Телеграфного и... Нет, не Телеграфный — это уже современное... На углу Архангельского и Кривоколенного, а Пастернак, соответственно, на Мясницкой в доме при Училище живописи, ваяния и зодчества. Но думаю, дело не в этом.

Дело в том, что прадед... Они все — конечно, они не были толстовцами, но Толстого очень почитали. И, собственно, даже прадеду приходилось по делам с Толстым общаться, и он бывал у него в Хамовниках, и даже есть свидетельство, когда Толстой бывал в конторе у Александра Вениаминовича, но это не потому, что они там о чем-то болтали, а, допустим, Толстой заботился об участии какого-то больного рабочего. До него дошли слухи. Вот он пришел к Александру Вениаминовичу, чтобы замолвить словечко, а уже к тому времени Александр Вениаминович этому рабочему выплатил полугодовое жалованье для восстановления сил. И бабушка Толстого совершенно почитала. Ну и тут, конечно, и роман «Воскресение», и пятое, и десятое. В общем, Пастернак и Толстой, они были в сознании этого круга очень связаны. В общем, не знаю, так или не так, это не важно, бабушка несколько лет училась у Пастернака, и естественным образом, конечно, эти семьи связали такие приятельные отношения, которые и сейчас продолжают. Это уж так как-то переходит.

Да, а еще, конечно, тоже существенное: жена Леонида Осиповича Пастернака, Розалия Исидоровна, была блистательный пианист. Пианистка. Собственно, ребенком она была вундеркинд, концертировала. И бабушка моя была очень хорошей пианисткой. Они вообще были настоящие... Даже меломаны — это не то. И как-то много их чего связывало, и даже какие-то были три, кажется, года, когда они вместе снимали... Вернее, не вместе, снимали рядом дачу. Такое есть замечательное место, которое существует и сейчас, и говорят, даже есть какие-то признаки прежней жизни, — Райки по Курской дороге. Станция Чкаловская. Там такое имение — Райки. Про это имение Райки я тоже теперь много чего узнала, откуда оно вообще произошло, очень много забавного и всякого. Но в тот момент, в начале XX века, это имение Райки принадлежало промышленнику Некрасову, такому своего рода Лопатину, который сдавал эти флигели с соответствующими названиями, какой-то там «Малый Эрмитаж», «Белый дом», такой дом — он их сдавал под дачи. Тут много картинок — это все Райки. Бабушка — это место для нее было самое, видимо, счастливое и продуктивное в художественном смысле. Она жила там много лет до где-то года 13-го. И они в этих Райках... Там, кстати говоря, кучковалось много художников разных. То есть даже у этих Райков был шанс стать таким подмосковным Барбизоном. И даже какое-то время, может быть, там что-то наклеивалось. Ну, потом, опять же, по известным причинам это не состоялось.



На даче Пастернаков. Справа налево, в 1-м ряду: О. А. Бари, П. Д. Эттингер, Р. И. Пастернак с дочерьми Лидией и Жозефиной, Л. А. Бари; во 2-м ряду: Б. Пастернак, Л. Г. Левин, А. Пастернак, Л. О. Пастернак, неизв. Райки. 1907

Так там они жили с Пастернаками в соседних дачах, и было очень тесное общение. То есть Боря, Борис Леонидович, был еще гимназист. Ну, естественно, Александр тоже. Есть такая фотография: на террасе у Пастернаков Леонид Осипович, Розалия Исидоровна, Лида и Жоня, Боря, Саша, доктор Левин, Эттингер, бабушка, бабушкина сестра и так далее. А доктор Левин — это, знаете, тот доктор, который — первое «Дело врачей», которых расстреляли, с Плетневым. И, собственно, Канель. Это кремлевские врачи. Все они на этой террасе кайф полный ловили все эти годы. Там было чудесно. А, еще там очень было удачно: эти девочки, Лида и Жоня, они были практически ровесницы, немножко, чуть-чуть старше бабушкиных племянников, близнецов, такие были Аля и Лева Самойловы, дети ее старшей сестры. Многое их связывало, не важно.



Ольга Александровна Бари. 1895

Так вот, бабушка моя долго-долго не выходила замуж. У нее были всякие, тоже интересные, — это тоже очень далеко заведет, — чрезвычайно интересные сюжеты. Это мы оставим. Но с дедушкой они познакомились юными. Они познакомились в 96-м году. То есть буквально им было по восемнадцать лет. И дедушка мой все эти годы бабушку очень любил. Но ждать ему пришлось семнадцать лет. Бабушка всякие переживала периоды. Она замуж не выходила, и как-то все это было на очень таком... Никаких безобразий не происходило. Бабушка — она была художник и музыкант. Хотя ее сестры повыходили замуж, очень успешно, удачно. Старшая, Анна Александровна, и младшие, Евгения Александровна и Лидия Александровна. И в 13-м году, в апреле умер отец, а отца они боготворили все просто. Это было что-то — особенный какой-то был отец, и письма он подписывал, например, бабушке «твой друг и папа». «Друг» было на первом месте. И в 13-м году он умер, и бабушка почувствовала себя, вероятно, очень как-то — сестры замужем, у них дети, уже какая-то жизнь... В общем, ей было сиротливо. Она вообще была такая — «в семье своей родной» немножко «казалась девочкой чужой». Хотя все они были умницы. Но что-то вот в ней было, может быть... Художница, короче.



Свадьба Семена Айзенмана и Ольги Бари. 15 сентября 1913 г.

И в 13-м году она вышла замуж за дедушку, и как-то они... К этому времени она его оценила, безусловно, потому что, я знаю это по письмам, это получился тоже прекрасный брак, который, надо сказать, семья не одобрила. Считали, вероятно, что женщина тридцати четырех уже для брака... Что у нее другая уже миссия. Нет, бабушка жизнь свою изменила, вышла замуж за деда. Поженились они в 13-м году осенью. Уехали в свадебное путешествие в Италию, естественно (в Италию бабушка ездила каждый год). Свадебное путешествие было испорчено, потому что дедушка заболел паратифом во Флоренции. Долго там приходил в себя. Там зародилась жизнь моей тетушки. Бабушка очень плохо себя чувствовала. Видимо, тяжело очень переносила это все. В общем, они вернулись в Москву не как предполагалось через полтора месяца, а через несколько месяцев. Поселились там же, в доме родителей, но с семьей тут начались какие-то сложности разного рода. Не одобрили этот брак, приняли в штыки. Тут через год началась война. Собственно, тетушка моя родилась на следующий день после выстрела этого Гаврилы ужасного, после убийства эрцгерцога Фердинанда, прямо наутро, на следующий день, она и родилась в Быково. И жили они до 18-го года в этом доме на углу Кривоколенного. Это дом рядом с Антиохийским подворьем, с Меншиковой башней. Собственно, венчались они как раз в Меншиковой башне, дедушка с бабушкой. Бабушка была крещена, она была протестантка от рождения. А дедушка был еврей из Ялты, и его крещение было сугубо рационального свойства, чтобы учиться в Москве в университете. Он был юрист, присяжный поверенный, происходил из интеллигентной ялтинской семьи. Собственно говоря, знакомство их с бабушкой, оно и произошло благодаря тому, что дядя моего деда, Григорий Михайлович Фарбштейн, был одним из ведущих инженеров в фирме моего прадеда Бари, и вот если прадед приехал...



Семен Борисович Айзенман и Ольга Александровна Бари-Айзенман. 1914

Да, собственно говоря, познакомились они... Этот сюжет я упустила совершенно напрасно. Познакомились они в 1896 году на выставке, Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Все павильоны этой выставки строила строительно-инженерная контора Бари. Собственно говоря, когда в результате этой выставки контора прадеда получила статус поставщика Двора Его Величества, соответствующий герб на бланке и на вывеске, комплекс, статус необычайно их возрос. Это была блистательная их победа. Такая была забавная история. Да, а Фарбштейн как раз, дядя моего деда, руководил этими работами. Все это было, естественно, выстроено по проекту Шухова. Существует блистательная фотосессия фотографа Карелина — выставка. Там все эти павильоны, эта гиперболоидная башня, на которой контора Бари. И там такая была интересная история: какой-то волшебный главный павильон необыкновенной архитектуры, шуховское произведение, и накануне приезда императорской семьи на выставку пошел град. Произошел град, и были побиты стекла в этих перекрытиях цельнометаллических. То есть совершеннейший ужас. Поменять уже не было времени.

”

Тогда этот блистательный наш Александр Вениаминович вместе с рабочими полезли на эту крышу и разбили стекла — все. И Александр Вениаминович сказал: «Авось завтра будет солнце». И было солнце. И император особенно отметил необыкновенную чистоту и прозрачность перекрытий, этих стекол. Вот так обдурили.



XVI Всероссийская торгово-промышленная и художественная выставка. Гиперboloидная башня Шухова на фоне главного павильона. Москва. 1880-е гг.

И на эту выставку приехал прадед со своими тремя старшими дочерьми взрослыми. Все сотрудники конторы, которые принимали участие в строительстве, приехали туда со своими семьями. Вот там познакомились бабушка с дедушкой, и вот с тех пор все это тянулось, эта вот байда, и в 13-м году она завершилась браком, и брак этот наш оказался очень нежный, очень хороший. Прожили... Собственно, как прожили? Прожили сорок лет, дедушка умер в 53-м в декабре. Но потом началась жизнь другая: в 1918 году... Есть такое у меня печальное письмо — бабушка пишет своему другу Эттингеру Павлу Давыдовичу, с которым она познакомилась тоже в начале века, круг Пастернака, эти все люди прекрасные, она пишет, что нас выселяют из нашего дома, но не правительство советское, нет, а выселяют родственники, которые хотят взять нашу квартиру под контору. А там еще, кстати, только я не знаю, как это соотносилось, в те же дни Шухова выгнали из его дома собственного на Новинском бульваре, и он поселился у наших в доме. И нужна срочно, срочно нужна какая-то квартира или хотя бы полквартиры. Куда-то надо переехать. Четырехлетняя дочка, еще нет четырех лет, и бабушка беременная: ожидается рождение моего отца.

Кликнули клич, в результате чего семейство поселилось... Нашли квартиру в Мансуровском переулке — такую темноватую, плоховатую, какую-то очень сомнительную квартиру. С одной стороны улицы бельэтаж, со стороны двора полуподвал, непонятно что. Но решено ненадолго, до весны. Прожили там восемьдесят весен, восемьдесят лет, восемьдесят зим и так далее. Собственно, окончательно покинули в 1998 году. Даже не мы там жили, а тетушкина воспитанница.



Алексей Айзенман. Двор дома №3 по Мансуровскому переулку

О прежнем жильце квартиры в Мансуровском — писателе Заяицком

А дом тоже, эта квартира нашлась не просто так. Она нашлась потому, что до нас там жил писатель Сергей Сергеевич Заяицкий. Этот человек — друг Булгакова, круга булгаковского близкого, который был братом бабушкиной лучшей подруги Наташи Заяицкой, в замужестве Давыдовой, с которой они учились в Первой гимназии. Но Наташа в самом начале века ушла от своего мужа и со своими детьми уехала на ПМЖ в Рим, так там и осталась. И оказались мы на месте этих самых Заяицких. Заяицкий к тому времени нашел себе что-то получше, переехал. Это тоже был презабавнейший персонаж. Я там его описываю. Он был такой артистичный, очень любил, как у нас теперь говорят, прикалываться. В частности, когда он еще жил в Мансуровском переулке... У него был костный туберкулез. Он не был горбуном, как я понимаю, на самом деле это преувеличение. Но что-то у него было, какая-то особенность фигуры, и он очень любил наряжаться в какие-то кружевные жабо необыкновенные, в какие-то цилиндры, и в таком виде он шествовал по Пречистенке в сторону Пречистенских ворот. Многие люди, попадавшие навстречу, изумлялись его виду как-то себя проявляли. Тогда как поступал Сергей Сергеевич? Он садился на трамвай, проезжал в обратную сторону одну остановку, снова шел в сторону Пречистенских ворот, снова попадался на глаза тому же самому человеку, который впадал в какой-то... И так проделывал по несколько раз. Вот такой он был.

Вообще, он блистательный писатель. Вы не читали? Я вам рекомендую от всей души. То есть это класса Олеси. Ничуть не хуже, нет, ничуть. У него есть, допустим, «Жизнеописание Степана Степановича Лососинова». Или повесть «Баклажаны». Это просто оторваться невозможно. Дело в том, что он... Он рано умер, он умер своей смертью в 1930-х годах от своего туберкулеза. Его, естественно, не переиздавали, а первое переиздание — это был где-то конец 1980-х. Я бы тоже пропустила, если бы не иллюстрировала его тетюшка моего теперешнего зятя, а тогда просто моя подруга Лена Трофимова, и она нам всегда проиллюстрированные собою книжки дарила. И подарила мне такую маленькую книжечку — Заяицкий. И я очарована была совершенно и спустя годы узнала случайно из какой-то переписки, что оказывается, он из нашей квартиры человек.

А уже современный сюжет — это вообще закачаешься, потому что в сети все это вот выловилось, и мои тексты правнук этого Заяицкого Сергея Сергеевича, Миша, Микки [увидел]. Я вам рассказывала, что он приезжал, он оказался братом Абрикосова Димы, четвероюродным каким-то, и это прекрасный тоже, изумительный человек. Мы с ним дружим в фейсбуке. Весной я экскурсию ему провела по нашему переулку общему. Когда я его увидела, я была потрясена: это роскошный, высоченный смуглый человек какой-то непонятной внешности. А мы переписывались до этого. Да, а, собственно, почему мы переписывались? Он написал мне и сказал, что, вы знаете, ваша бабушка дружила с сестрой моего прадеда, о существовании которой мы не подозревали. А вдруг вы что-нибудь знаете о семье Заяицких? Вдруг у вас какие-нибудь фотографии? Я говорю: «Боже мой, о чем вы говорите! У меня толстая папка, сложенная в отдельную папку, писем вашей двоюродной прабабушки моей бабушке в течение многих лет, которые я непонятно зачем хранила, но, оказывается, [вот] зачем, и столько же фотографий. И, пожалуйста, ради бога, давайте, не знаю, где вы там живете — как-нибудь хотела бы вам это все отдать». И он приехал в Москву повидаться с Димой Абрикосовым и со мной — чтобы получить эти письма. А приехал он не один, а приехал с очаровательным семейством, и, когда мы встретились, — это маленькие очаровательные мальчик

и девочка, и как бы еще одна девочка, которая оказалась его жена, Луадье.

Е. Г.: Ольга...

О. В.: Да, все. Ой, извините (*смеется*).

Е. Г.: Это уже лишняя информация.

О. В.: Ну не важно, да.

Е. Г.: К бабушке.

О бабушке, Ольге Бари-Айзенман и дедушке, Семёне Айзенмане

О. В.: Да, к бабушке. Бабушка моя стала художником довольно быстро. То есть, если она поступила в 1903 году учиться к Пастернаку, уже где-то первое ее участие в выставках — это год буквально чуть ли не 1907-й, 1909-й, может быть. У меня есть довольно много каталогов — свидетельств ее участия. Причем в самых достойных, естественно, компаниях. И у Пастернака она училась. Они рисовали модель. Надо сказать, что чудесным образом практически все эти рисунки у меня на шкафу лежат, их очень много. Сначала они довольно скромные. Не беспомощные, но такие рисунки начинающего человека, а потом — вполне мастерские. Там и обнаженные, и портреты. Портреты, на мой взгляд, особенно интересны, потому что окружение Пастернака. Это какой-то сторож училища ваяния и зодчества. Ну, кого он приглашал: какие-то тетеньки — простые, непростые, всякие. Но ее призвание, конечно, был пейзаж, и, когда она уже на пейзаже сосредоточилась, тогда Леонид Осипович ей сказал, что здесь уже вы сама, это ваша сильная сторона. И он ей предоставил свободу. Ну, общались и дружили они. Собственно, переписывались они с Пастернаком, с Леонидом Осиповичем практически уже до конца 30-х годов. Есть у меня все эти письма оттуда. Из Германии, даже уже из Англии. А с Борисом Леонидовичем, которого бабушка знала — у них разница девять лет в возрасте... Разница в возрасте — девять лет, поэтому, конечно, мальчик-гимназист и взрослая женщина. Тем не менее, они очень тепло друг к другу относились, и, собственно говоря, до конца бабушкиных дней общение продолжалось. То есть об этом документально можно судить. Я же сама помню Бориса Леонидовича. Я была маленькая девочка. Меня в комнату, но я слышала. У нас между комнатами была такая дверь с щелями, поэтому вот это пастернаковское гудение... Естественно, в пять лет я... Но вот как ни странно, музыку я помню очень хорошо. Она у меня в сознании отпечаталась. И вообще образ, хотя, конечно, я тогда не понимала ничего. И они так общались, и вот эти книжки — всё, что выходило у Бориса Леонидовича, он бабушке моей дарил, и она была, собственно, одна из первых тоже читательниц «Доктора Живаго». Успела.

Но в советское время уже бабушка — нашлась такая для нее ниша (не сразу) — стала вести рисовальные группы для детей московской интеллигенции, которая продолжала обучать своих детей не только насущному, а всему, в частности, и рисованию. И сохранились (это, конечно, очень трогательные артефакты) такие маленькие записные книжечки еще из прежних времен, где бабушка записывала учеников просто, группы. Было несколько групп там. Я вижу там пять или шесть групп. Занятия проходили либо у нас дома за большим круглым столом, либо в квартирах людей, у которых была такая возможность. В частности, одним из основных многолетних мест, где собиралась такая группа, был Арбат, дом 4. Это была квартира композитора Василенко, забавная такая квартира, где в одной квартире жила женщина, жена Василенко, со своей дочерью и внучкой и ее первый муж. То есть там три фамилии были: Василенко, Каптерева, Шамбинаго. Татьяна Павловна Каптерева-Шамбинаго — византолог. Такое ощущение, что она даже еще и жива, хотя она года 23-го. Мы с ней одно время общались по телефону.



Рисовальная группа О. А. Бари-Айзенман. Арбат, д. 4, квартира Василенко-Шамбинаго. 1930-е

И в этом доме за их круглым или не круглым, но каким-то большим столом годами собирались в определенные дни дети и рисовали, и одним из посетителей и одним из участников именно этой группы многолетних был Сигурд Оттович Шмидт, который тоже много-много лет учился у бабушки рисовать. Мы с ним это обсуждали. Он очень горячо к ней относился и с большой благодарностью. Он из своего Кривоарбатского приходил на Арбат, дом 4. Собирались, в частности, тоже у Юрия Алексеевича Рыжова, как выяснилось, он мне рассказал в мае месяце. У них дома. Но это уже совсем другие времена. Это уже после войны. И так вот у бабушки были там какие-то необыкновенные имена, замечательные, которые сейчас особенно ласкают слух. В частности, несколько Голицыных. Всякие, всякие прекрасные. Уже ныне немногие эти фамилии встречаются в обиходе. К счастью, ваш случай — исключение. Многие фамилии уже давно в других краях окончательно в полном составе, или вообще, не знаю, что-то случилось. И я читаю эти списки, причем в этом есть что-то ужасно трогательное, потому что адреса, телефоны, имена мам, как пройти. Конечно, все это грустно...

Да, в частности, такие учились замечательные девочки у бабушки, 25-го года рождения: Ника Гольц и Таня Лившиц, с которыми тоже я до последних их дней... Как-то мы на этой почве, в частности. И судьба вот этих многочисленных бабушкиных учеников... Девочки в большинстве своем выжили. Какие-то чьи-то судьбы мне известны. Мальчики в большой, в значительной степени погибли на войне. Например, какой-нибудь Вова Антокольский, сын Павла. И не только, там многие канули. Я долгое время думала, что должны быть где-то, все-таки сохраниться в каких-то семьях работы этих учеников, которые, поскольку это очень часто происходило в нашем доме — и, соответственно, эти натюрморты ставились из тех предметов, которые жили в нашем доме. Так и оказалось, потому что у Тани, Татьяны Исааковны Лившиц, у нее сохранились работы всей ее жизни. И незадолго перед ее смертью неожиданной она мне сказала: «Знаете, я принесу, и вы сможете это сфотографировать». Но уже после ее смерти Ника мне предоставила эту возможность, и действительно я нащелкала этих фотографий. Это все те предметы, которые даже сейчас частично где-то здесь существуют. Это тоже — какая-то в этом есть тайна. Не только люди, но и предметы что-то такое сохраняют интересное.



Художники Ника Гольц, Татьяна Лившиц, Илларион Голицын. 1990-е

Вот бабушка так и жила, и даже после эвакуации, вернувшись из эвакуации очень тяжелой, она продолжала эти занятия. Собственно говоря, года за два до смерти, когда она уже совершенно практически ослепла, она вынуждена была это прекратить. Собственно, я-то у нее успела получить только один урок, к сожалению. Она умерла в марте 1954 года. Мне уже было шесть лет. Один раз мы с ней занимались. Но эти ученики иногда всплывают так или иначе.

Дедушка мой скончался 5 декабря 1953 года. Потому что, конечно, весь этот период с 17-го года, весь этот ассортимент, который эпоха предоставила, все к нему были причастны, но, так я думаю, что добило и дедушку, и бабушку — не такие уж они были старики, дедушке семьдесят четыре, бабушке семьдесят пять, — это, конечно, «космополитизм» вот этот, «борьба с космополитизмом», и завершающий уже аккорд — «дело врачей». Это я помню, надо сказать. То есть, естественно, я не понимала ничего, степень, но то, как — атмосфера и то, что собирались и думали, что что-то надо... Собственно, брать было особо нечего, но готовились, готовились к высылке. Мама моя, которая, может быть, даже болезненнее всех это воспринимала, потому что она знала, что такое скитаться, она всю свою жизнь скиталась...



Дедушка — Семен Борисович Айзенман

Дедушка, по счастью, — такая высшая справедливость все-таки, — дедушка Сталина пережил и скончался 5 декабря в день сталинской конституции скоропостижно. И я этот момент помню — как мы с папой пошли в магазин, это выходной был день. И встретили на ступеньках магазина на Остоженке спускавшегося дедушку, который посоветовал папе купить селедку, это я помню (*смеется*). Сказал, что селедку купи, Алёша. А когда мы пришли домой, то дедушка уже умер. Да, и он сидел в кресле около окна, и такое морозное из окна какое-то облачко, и сидит дедушка в таком вольтеровском кресле, прямо, но уже неживой. И бабушка, она практически его, можно считать, что не пережила. Она пережила его фактически, она умерла в марте, она пережила его на четыре месяца, но она уже была, так я понимаю, там уже как-то... В общем, ее уже здесь не было. Так что история вот такая.



Ольга Бари-Айзенман. Пейзаж со скульптурой

То есть первых, маминых родителей, я не знала вообще, они умерли. У нас со стороны мамы получилась семейная такая цепочка: бабушка умерла 28 января 1937 года, дедушку убили 29 января 1938 года, а я родилась 27 января 1948 года. Так что вот такие три у мамы было дня в жизни неслучайных. Про дату дедушкиной смерти, как я сказала, узнали уже спустя шестьдесят лет. Он там в Томске, на полигоне вроде Коммунарки, вроде Бутово. Забыла, как она называется. Каштачная гора, вот как это называется. Марина Поливанова — благодаря ей я получила эти сведения, благодаря ее контактам. Собственно, ее прадед Шпет там же был расстрелян месяцем раньше. Так что вот про родителей вкратце. Теперь что-то, может быть, конкретное? Я что-то, конечно, упустила, какие-то знаковые семейные события *(смеется)*.

О тете, искусствоведе Татьяне Айзенман

Е. Г.: Про папу надо рассказать.

О. В.: Да. Про папу. Теперь рассказываю про папу. Да, я сначала расскажу про тетушку.

Тетушка моя замечательная старшая. Старше папы она была на четыре года. Искусствовед. Татьяна Семеновна Айзенман. Книги ее и статьи выходили под фамилией Семенова, потому что в 1949 году, когда должна была выйти ее книга о художнике Федотове (и она таки вышла), редактор издательства «Искусство», сказал, что нет, с фамилией Айзенман — извините. И Таня, будучи Татьяной Семеновной, сказала: «Семенова». И так и осталась она. Она разными вещами она занималась. В частности, в те времена, в 50-е годы, в начале 50-х, она, как тогда многие — со многими людьми происходила такая вещь, что писатели, например, литераторы, искусствоведы, они, для того чтобы выжить, какие-то деньги получать, многие работали... Как это называлось? Короче говоря, отвечали на письма населения в журналах, издательствах. Вот название какое-то — это сейчас вышло, вылетело из головы. Не консультант, нет. В общем, как-то это называлось.



Алексей Айзенман. Портрет сестры Татьяны. 1947

И тетушка моя зарабатывала на хлеб в журнале «Крокодил», отвечала. Это тоже, кстати, было чрезвычайно забавно. У меня даже какие-то сохранились артефакты этого, какие-то письма. Там присылали карикатуры. Она должна была ответить, почему они не подходят для издания. Или, допустим, какие-то темы иногда подходили. А там клубились, в «Крокодиле» в те времена лучшие, самые остроумные люди московские. Кто там только, боже мой, не работал. И тот же Драгунский, и Ардов и... Перечислять можно бесконечно эти имена. Которые чем-то там занимались, на хлеб зарабатывали в этом «Крокодиле», но сами по домам по своим они писали какие-то свои, в столы.

Тетушка моя занималась тоже своими какими-то изысканиями. В частности, она очень увлеклась народным искусством, по-настоящему. Но, к сожалению, вышли только две книги из предполагаемой трилогии. Они у меня, кстати, выложены на сайте. Одна книга называется «Искусство Полховского Майдана и Крутца». Вот она была первым человеком, который обратил внимание на эти замечательные вещи, в начале 60-х написала прелестную совершенно книжку, не оторвешься. Вроде бы как искусствоведческая. А потом вышла тоже прекрасная «Пути народного искусства» — это о дагестанском искусстве, это о Городце. О ней замечательно писала Лёля Мурина. Она ее очень высоко ценила, они дружили. А третья часть, к сожалению... Это как раз пришлось на 90-е годы. Это о народном наивном искусстве. И я бы это издала, и даже... Но набор слайдов невосстановимых был потерян в тот момент, когда издательство «Советский художник» преобразовывалось в «Галарт». То ли выбросили, то ли просто кто-то унес, в общем, они пропали. А книга такого рода без иллюстраций невозможна. А текст тоже изумительно увлекательный. Тетушка моя была человеком — абсолютным нонконформистом, очень интересным, очень мощным мыслителем. Архив ее у меня лежит в той квартире — я не знаю, как мне с ним быть и куда, и что.

О папе, художнике Алексее Айзенмане

Папа, он родился, конечно, художником. Даже это не обсуждалось. И в школе обыкновенной советской он учился всего год, потому что в те времена (папа 18-го года рождения), многих детей в школу не пускали, а они учились в частных группах, экстерном. Но один год все-таки он поучился. А потом, когда ему было лет четырнадцать или пятнадцать, не больше, он поступил в Училище памяти 1905 года, и на втором то ли третьем курсе (вот сейчас боюсь, ну не важно это) пришел туда преподавать Крымов, и Крымову предоставили такую возможность — отобрать себе группу на основании работ. И вот папе повезло — Крымов его выбрал. И Крымова папа боготворил. Вот просто без преувеличения. Боготворил. Николай Петрович Крымов — это было что-то особенное. И, разумеется, он знал, он даже написал где-то, что слухи о Крымове существовали в семье всегда. Бабушка очень ценила Крымова, и дети тоже. И это было счастье. Собственно, до самой смерти Николая Петровича папа... И жили, кстати, неподалеку, он же жил в нынешнем Сеченовском (забыла, как настоящее название), а мы в Мансуровском. И папа постоянно у него бывал и старался ему как-то помочь. Какие-то оформления работ, чего-то принести, унести, все, что угодно. Как он говорил мне, ему чуть ли не до конца дней снились — один из таких постоянных, знаете, снов, бывают сны такие — вот ему снилось, что он у Николая Петровича и что-то для него делает, как-то ему помогает. Это особая была такая связь. Что касается папиной профессиональной жизни, опять же, тот самый случай, что чем-то надо было зарабатывать на жизнь, и он...



Николай Петрович Крымов с учениками. В верхнем ряду, 6-й слева – Алексей Айзенман. Московский изотехникум памяти 1905 года. Москва. 1937

Да, а поженились они с моей мамой в 46-м году. Мама как раз кончила иняз. Познакомились они достаточно случайно. Моя тетушка в эвакуации на Урале в поселке Дегтярка преподавала литературу в школе в местной, и одной из ее учениц была московская девочка Нелли, мамина двоюродная сестра. Все, естественно, ученики очень мою тетушку любили. Так это и было, и осталось так, и в Москве, естественно, отношения продолжились. Нелли — очень яркая девочка, рыжеволосая, с прекрасным цветом лица, и папа пошел ее рисовать, писать и повстречал там мою бледную маму, которую приютили родственники в 40-м еще году, и влюбился, и так далее. В общем, этот брак случился в 46-м году, и уже я там в 48-м где-то появилась. Надо было работать. И очень многие московские художники работали, зарабатывали в этом кошмарном копийном цехе. Место, конечно, адовое. Но как для кого, безусловно.

Е. Г.: Что такое? Поясните.

Копийный цех

О. В.: Да. Расскажу. Огромная существовала потребность совершенно (ее даже нельзя было удовлетворить — настолько она была огромна) в портретах вождей. В прежние времена — вы-то этого уже, я надеюсь, не помните, а во времена моего детства всюду, ко всем революционным праздникам вывешивали такие ряды бесконечные... Я не знаю, сколько там было, этот ряд состоял... Вот сколько людей входило в Политбюро? И все портреты в соответствии со значимостью вывешивались всюду, они всюду существовали. И это такая техника сухой кисти. Как это, боже мой, ну, коричневая...

Е. Г.: Сепия.

О. В.: Сепия. Сепия, сухая кисть. Причем я очень гордилась тем, что я узнавала всех. Что неудивительно (*смеется*). Надо сказать, что, конечно, там какое-то было разделение труда, потому что, допустим, папа, ему удавались особенно... Ну, Владимир Ильич — это отдельный сюжет. Ему Берия очень удавался. Кого-то он еще там писал. Я помню, Ворошилова. Но вот особенно Берия. И они там выдавали на гора, огромное количество художников. Причем работали они как? У них не было постоянного места работы. Вернее, так. На какой-то год они арендовали (или кто-то им арендовал, допустим) какой-нибудь клуб. Клуб Зуева, допустим, или клуб Люблино. Я очень хорошо помню. И воткакой-нибудь зал этот огромный, в котором, я не знаю, происходили елки детские, туда с утра... Я буквально на днях в каком-то папином альбомчике нашла, там у него записки. Вот так он описывает начало рабочего дня в копийном цехе: открывается дверь клуба, и орава, толпа художников, отталкивая друг друга, несетя вверх по лестнице в этот зал, для того, чтобы занять место удобное, светлое и прочее, и кидают свои куртки, пальто, шубы, предметы. После чего, когда накидали, все успокаиваются, ставят мольбертики. Как там они писали? Мольберт, а перед мольбертом другой мольберт с так называемым эталоном, то есть с чего они копируют, должны были копировать. Причем, какие там были люди? Там были люди самые разные. Там были блистательные художники, которые, как потом выяснилось, в свое время окончили ВХУТЕМАС, даже не ВХУТЕМАС, а Училище ваяния и зодчества, ну и ВХУТЕМАС, и какие-то академии иностранные художественные, и какие-то молодые... Ну, выхода не было. Да, кстати говоря, кроме портретов, они еще там копировали эпохальные полотна. Разумеется, Серова¹, Иогансона, какого-нибудь — такой еще был с армянской фамилией, — Налбандяна. Такие там, допустим, Сталин и Ворошилов прогуливаются над Боровицким садом, или Ленин в кабинете. Это самые мастера делали. А иногда были просто подарки

судьбы. Я помню, что однажды папа копировал «Алёнушку». Он был счастлив (*смеется*). Но в основном эти портреты, портреты, портреты гнали.

¹ Владимир Александрович Серов, автор картин «Приезд В. И. Ленина в Петроград в 1917 году», «Штаб Чапаева», «Ходоки у Ленина» и пр.

Причем, когда была «борьба с космополитизмом» и началось «дело врачей», то ведь выгнали с работы всех: тетушку выгнали из издательства, маму из института. Дедушку, кстати, не выгнали. Видимо, он был все-таки очень ценный работник. Он был юрисконсульт. А копистов-то не выгоняли, потому что куда там без них? Там тоже много было евреев, но это настолько было острое производство. Может быть, даже еще больше требовалось всего этого выдать. Причем я даже помню, например... Я принимала участие, надо сказать, в процессе, я даже описала в каком-то своем тексте, я просто помню прекрасно. Сколько мне там было лет — пять? Да, но это до школы еще было, и вот у нас в нашей комнате мы под таким большим оранжевым абажуром сидим всей семьей, и какая у нас задача? Лежит холст натянутый, на холсте лежит калька с силуэтом, контуром ленинского лица. Мы сидим с мамой и с папой и иголочками... Папа, может быть, нет, не принимал [участия], но мы с мамой точно. И толстыми иголками мы прокалываем по этому контуру дырочки с промежутком полсантиметра, наверное. И мама говорит: «Не уколись, не уколись». Ну, я очень ответственно все это прокалывала. Мне доверили галстук проколоть и отвороты пиджака. А маме — лицо прокалывать. Когда мы это все прокололи, берется марлевый мешочек с синькой, и вот этим мешочком вот так мы трясем над этими дырочками, и потом когда калька снимается, то изображение Ленина уже готово, осталось только раскрасить (*смеется*).

”
Причем у каждого художника был — они придумали себе какой-то отличительный знак. Например, у папы был какой-то определенный горошек на ленинском галстуке, определенным образом написанный. Нельзя было придрататься: никакого профиля Троцкого, ничего там этого не было. Но он знал, что это его портрет. И вот, помню, как-то уже в 60-е годы, в конце 60-х, папа, страшно довольный, приходит из нашей районной поликлиники и говорит: «Мой Ленин висит!» (*Смеется*.)

Но папа мой страшно мучился. То есть кто-то, я знаю людей (и, кстати, тоже крымские ученики), которые как-то к этому делу прикипели душой, — это была очень, видимо, выгодная работа, — что они так там до пенсии и проработали. Уже в глубоко уже пост-какие-то времена. Так они всю жизнь там что-то такое копировали, может быть, уже не портреты вождей, может быть, другое. Но копировали. А папа мучился безумно. То есть он понимал, что... Художники там погибали просто — это понятно. И, чтобы не погибнуть, папа в обеденный перерыв писал эти этюды. Вот это оттуда — обеденный перерыв в копияном цехе. Этим этюдов очень много было. В какой-то момент их в грузовике увезли какие-то французы в начале 90-х, но кое-что осталось. Вот такие прелестные глотки кислорода из окна тех самых клубов. Вот это Люблино, где они писали... Берю пишет, а в обеденный перерыв не ест, а пишет такой этюдик.

И когда 4 апреля 1953 года в газете «Правда» появилась статья о том, что никакие врачи ни в чем не виноваты, не сразу, конечно, но спустя, еще какое-то время — и маму приняли обратно на работу... Ее, правда, не выгнали совсем, ее там какие-то добрые, интеллигентные, замечательные люди, оставили почасовиком. У нее, то есть, какой-то заработок минимальный был. А тут ее сразу же взяли обратно, и мама сказала папе, видя, как он мучается от этих копийных вещей: «Алёша, уходи». И Алёша, не веря своему счастью, ушел с этой работы в надежде, что он будет работать, может быть, в этом, как у нас называлось — в МосХе, в фонде, в комбинате. В живописном комбинате. Конечно, все это страшно сложно, и работу эту добыть. В общем, как-то папа что-то, но очень мучительно. Но, опять же, бог его не оставил. А он, еще когда бабушка преподавала, и как только он немножко подрос, стал ей помогать. Они преподавали вдвоем уже где-то с конца 30-х. И он был, конечно, кроме того, что он родился живописцем, он еще был, конечно, прирожденный педагог. Сначала он ездил — это были какие-то командировки от Дома народного творчества, и он благодаря этому побывал в самых удивительных местах — даже на Сахалине. Он ездил туда проводить какие-то семинары художественные, а потом он поступил в это благословенное ЗНУИ. Это произошло году, наверное, в 58-м, и это, так же, как и для даже не десяток, а сотен московских художников было огромное счастье и удача.

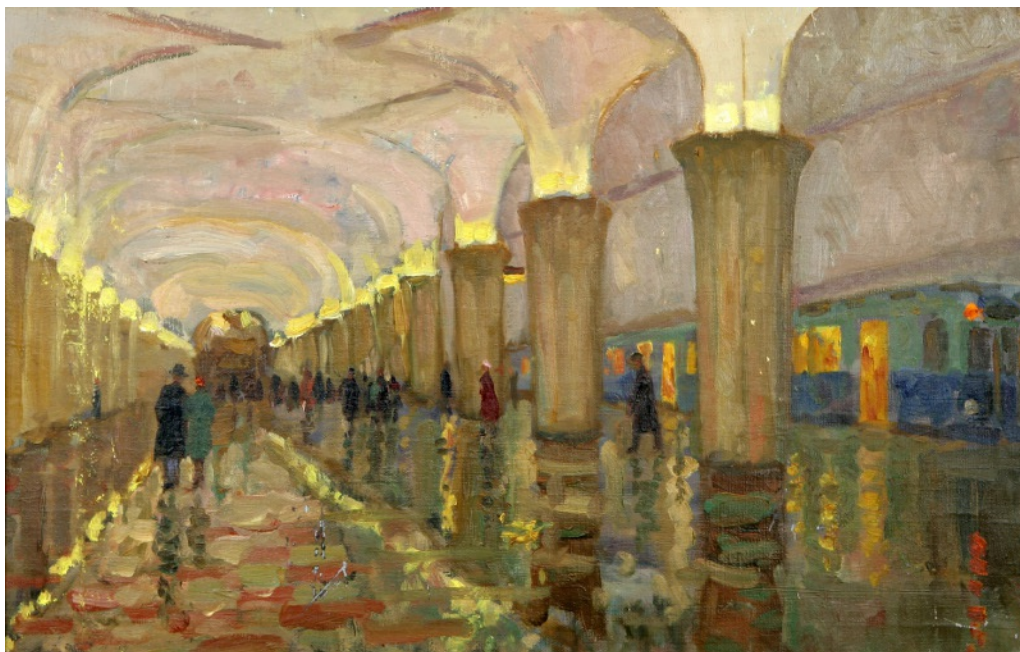
Е. Г.: Что такое? Расшифруйте.

Заочный народный университет искусств

О. В.: Да. Рассказываю. Заочный народный университет искусств. Некогда он был имени Надежды Константиновны Крупской, как и все такое прекрасное и благородное вроде домов пионеров, родильных домов (такое издевательство над бедной женщиной). В частности, и это было тоже — Надежды Константиновны Крупской. Это организовалось где-то году в 27-м. Поначалу это были просто как бы курсы для самодеятельных художников. Постепенно, к тому времени, когда мы узнали об этом прекрасном учебном заведении, оно действительно было единственное в своем роде. Там любой человек с любым образованием, с любой степенью подготовки, проживающий где угодно (в Москве, в тайге, хрен знает где, в любом месте), мог поступить за совершенно символические деньги в наше учебное заведение и начать тесно напрямую общаться с московским художником.

Да, причем среди наших учеников... Я там тоже работала со временем. У меня тоже был такой длительный период — лет десять, наверно, я там работала. Это уже ближе к пенсии. Там могли учиться солдаты срочной службы, офицеры из дальних гарнизонов, заключенные (реально, из лагерей, из тюрем присылали), инвалиды — спектр широчайший. И как это происходило? Человек присылал свои рисуночки. В те времена — и долго еще так было — почтовые отправления стоили копейки. Даже бандероли. Вот человек присылал, платил за год обучения. Полагалось ему десять консультаций, приблизительно раз в месяц. Он присылал свои работы и получал от московского педагога, художника, обстоятельный разбор своих работ с советами. Причем, людям, которые особенно в это дело не вникали, до тех пор, пока не вникали,

это казалось абсолютным абсурдом. Ну как можно, например, удаленно учить танцевать, да? Или удаленно учить музыку? А это все, кстати, было! *(Усмехается.)* У нас такие были факультеты. Или удаленно учить рисовать. За музыку и за танцы не скажу, но то, что поразительные были результаты в области изобразительного искусства (и, кстати, фотографии — там тоже у нас такой был факультет, фотографии), — это я свидетель. То есть, оказывается, можно вербально человеку дать понять, что хорошо и что плохо, и как надо, и что.



Алексей Айзенман. Станция метро «Кропоткинская» 1960-е

А кроме того, были действительно удивительные возможности. Курс обучения был рассчитан на 5 лет. Всё всерьез. Первое, что в начале каждого курса человеку высылали, учащемуся, набор учебных пособий — изумительных! У меня где-то они есть, эти учебные пособия, а авторы их — это были такие по-настоящему думающие, квалифицированные педагоги. Это были такие брошюры, но они умудрились эти пособия сделать так умно, что там в очень сжатом и сокращенном виде были объяснены какие-то очень важные вещи. И, кроме того, постоянно нам всем, педагогам, раздавали, допустим, наборы открыток. А открытки в те времена выпускались изумительные. Например, в магазине «Плакат и портрет» на Арбате можно было купить то, что никогда в жизни даже не... Никакие там были не альбомы, это нельзя было издать, а вот открытки — можно, самых удивительных художников, и не только отечественных. Посылали открытки. Значит, уже люди где-нибудь — какая-нибудь старушка в глубине тайги, — они вдруг получали пособия, картинки. Вот это — хорошо, постарайтесь как-то так же, да?

Самое ценное в этом нашем ЗНУИ, конечно, — и время подтверждает правоту эту нашу и наши догадки, — это были люди — так называемые «самобытные художники», то есть то, что называется в мире «примитивисты». Конечно, на каждом шагу они нам не встречались, безусловно. И это не должно было быть. Но встречались-то просто потрясающие, то есть ничуть, я бы сказала, не слабее Руссо и Пиросмани. И они-таки есть. Да, причем это как ведь все происходило? У каждого педагога была огромная группа — до ста человек, и даже, может быть, больше. Всего педагогов у нас было одновременно тоже человек сто. Мы же там не сидели на месте, у нас были два присутственных дня. Что нужно было сделать? Надо было прийти туда, получить почту, отправить все эти письма, которые от прошлого раза. И, собственно говоря, этим наша необходимость нахождения в этом нашем учреждении уже ограничивалась, но, поскольку преподавали там прекрасные, лучшие вообще, можно сказать, московские художники, которые не в состоянии были писать в комбинате заказные кошмарные вещи, они занимались... Вот, к примеру, недавно буквально мы были на отпевании в Обыденском — Андрей Гросицкий умер. Андрей, конечно, художник с мировым именем уже давно. Вот он всю свою рабочую жизнь до пенсии проработал в нашем ЗНУИ, занимаясь тем, чем он занимался всю жизнь. У него было такое расписание... Мастерская у него была рядом с нашей, а наша мастерская была в Зачатьевском монастыре. И у них тоже там: и у него, и у Мордовина. И вот он вставал утром и печатал на машинке (или поначалу тетя ему печатала, а потом он сам научился) пять консультаций. Допустим, это у него занимало три часа максимум, после чего он был свободен для своего творчества. И вот так эти люди... Ну, я не знаю, наверно, кто-то это делал с трудом. Чьи-то тут недавно я прочла воспоминания — чуть ли не Рогинского. Нет, Рогинский хорошо относился, он любил эту работу, и, кстати говоря, его творчество в значительной степени оттуда произросло — от учеников. Но только, конечно, на другом совершенно уровне.

Так вот, папа мой к этому относился всю жизнь абсолютно с горячкой, что называется, душой, но у некоторых педагогов, в частности, у него были очные группы. То есть, помимо тех наших переписок, два раза в неделю в подвале дома шесть в Потаповском переулке — это были когда-то палаты Гориных, а потом это стал дом Абрикосовых. Собственно, Потаповский переулок практически весь абрикосовский. Дима говорит: «Это все наши дома, все» *(Усмехается)*. Но это точно. И там такой подвал со сводами, действительно, свод XVII века.



Алексей Айзенман. В Потаповском переулке. 1971

Там собирались, приезжали люди — москвичи, подмосковные жители, из ближних областей — два раза в неделю. И это были замечательные творческие встречи. Такие, по существу, клубы. Люди приезжали со своими работами, и педагоги... Это обсуждалось, это было такое совместное... И по ходу дела происходили экскурсии в историю искусства, какие-то профессиональные бесценные советы. Атмосфера там во всех группах была просто волшебная, люди оттуда уходили воодушевленные, с ощущением, что все так друг другу интересны, все такие талантливые. Удивительное было дело, причем это длилось десятилетиями. И сейчас, кстати сказать, контора наша существует. Но я не знаю, как это там все происходит, там все иначе сейчас, потому что... Начиная с того, что наш контингент, который мы особенно ценили, все эти бог знает где живущие люди, все эти солдаты, заключенные, инвалиды и, не знаю, украинцы, армяне — все эти люди — они уже там не учатся. Собственно, первый совершенно катастрофический отток произошел после землетрясения в Спитаке. У нас было очень много армян. Это особенно талантливая какая-то [нация], люди живописно, конечно, — что-то особенное, даже те ученики, которые мне попадались. Это каждый раз было непременно что-то интересное. Все [ушли], даже не доучившись, не пострадавшие, но это была такая, видимо, травма и такой стресс общенациональный... У меня есть где-то такие замечательные работы — девочка была невероятной совершенно одаренности. Все это прекратилось. Ну, и так стали отваливаться республики. В общем, сейчас, я так понимаю, — у меня там работает одна из моих, с прежних еще времен, знакомая, — там стало достаточно дорого это стоить — учиться. О том, чтобы откуда-то из других городов высылать — это вообще неподъемно. Это безумно дорого. Я не знаю, кому это может быть по карману. У нас-то нищие люди учились, какие-то бог знает кто. Но сейчас это благополучное место, куда приходят какие-то люди, женщины в основном, естественно (есть ли там мужчины, я вообще не уверена), которые любят рисовать, и под руководством художников они там что-то пишут, какие-то постановки, что-то приносят, даже выставки у них бывают.

Конечно, это — ничего похожего на те наши ошеломительные выставки. Этим наивным искусством, я так понимаю, народ заинтересовался сейчас, в основном. Сужу по чему? Что только с начала этого года ко мне обратились четыре милых дамы, с которыми я не была знакома раньше, и я не знаю, они меня как обнаружили, видимо, где-то нашли мои... С вопросом: одна пишет о заочном университете, другая пишет о самодеятельном искусстве вообще, третья мне звонила, консультировалась, как можно соотнести тех людей, художников-любителей, условно говоря, из хороших, аристократических семейств, все умели рисовать, и очень неплохо, да? Какой-нибудь Бестужев, допустим, да? Как они соотносятся с самодеятельными художниками XX века? Какие-то пишут люди. Очень заинтересовались — несколько человек. Из чего я заключила, что дошло время до острого интереса и к этому виду искусства. Я считаю, что это того стоит. Я, конечно, не говорю о просто любителях — художниках воскресного дня. Я это всячески приветствую, но эти наивные художники — конечно, что-то особенное. У меня много, большие запасы моих учеников и то, что я просто из помойки вытаскивала. Ведь у нас все это как-то, к сожалению, в те времена... Отбиралось в фонд лучшее. Есть эти фонды, они сейчас частично переданы в Царицыно, частично — в Музей наивного искусства на Покровке. Но остальное — ну, а где это можно было хранить? Мы тогда еще жили в Мансуровском. У нас была такая кладовка, и папа, не в силах выбрасывать, он там все это складывал. Потом уже мне пришлось с этим расправляться. Так что вот такое, я бы сказала, прекраснейшее папе было везение в жизни, что он тридцать лет, даже больше, до самой смерти он там работал, и можно было заработать очень приличные деньги. Надо было добросовестно, вовремя... Действительно, это были деньги, на которые можно было пропитаться. И какие-то уже его работы там... Да, все эти художники, которые у нас там работали, могли заняться своим творчеством. Это упомянутый Рогинский, Юра Куперман

(Купер который) и Чуйков Иван, и Измайлов, и... Ну, это перечислять... Коля Касаткин, вот Андрей Гросицкий — все эти персонажи. Дарон... Их бездна, этих художников, которые в такой оказались, я бы сказала, удивительной нише. При том, что была еще другая категория людей, которые тоже вынуждены были у нас работать по материальным соображениям, а потом они куда-то там пристроились и как-то строили иначе свою жизнь — и ужасно стеснялись этого факта, ужасно стеснялись. Мой папа этим гордился, а они стеснялись. «Не говорите, Алексей Семенович, не нужно об этом». Ну, у всех разные позиции. Вот, Катя. О чем еще я могу вам рассказать?

Е. Г.: Ну, вернемся к началу вашей жизни.

О. В.: А, моя жизнь.

Коммуналка в Мансуровском и семейство Чупровых

Е. Г.: 1948 год. Какие первые воспоминания ваши?

О. В.: Мои первые воспоминания — это, конечно, наша коммунальная квартира.

Е. Г.: Пожалуйста. Это интересно.

О. В.: Да. Потому что с одной стороны, это, конечно, для бабушки, допустим, дедушки и моей тетки был ад, безусловно. Что касается папы, особенно с тех пор, как он женился на моей маме... Во-первых, приоритеты его были таковы, что он был весь воодушевлен красотой окружающего мира, и это для него было главное всегда. Да, еще тоже спасительное свойство, которое, к счастью, я унаследовала — не в полном, конечно, объеме, но значительно. Это очень, я бы сказала, патологически обостренное чувство юмора. Потому что (*усмеивается*) в том, что должно было бы, может быть, ужаснуть, он в первую очередь видел что-то ужасно смешное. И такая вот ирония — это спасительно. Особенно когда еще присутствует самоирония — это вообще, считай, золотой слиток на всю жизнь.

Когда появилась в нашей квартире мама, которая повидала всякого и пожила в самых разных условиях, и была исключительно коммуникабельна, ситуация, конечно, изменилась. Во-первых, при том, что наши соседи — это были такие заскорузлые гегемоны и даже хуже того, но маму они все полюбили. То есть ее авторитет был очень высок. Даже когда речь шла о том, что буквально на днях наши две комнаты освободятся и мы уедем куда-то в дальние страны в 53-м году, не страны, а куда-то в Биробиджан, условно говоря, в лучшем случае, то соседи, основные семейства наши, самые крутые жители нашей квартиры, они ссорились, кому достанется какая комната. В одной было двадцать метров, в другой — восемнадцать. Даже двадцать один и восемнадцать. Три метра — это существенно. Они их делили и дрались по-страшному. Обливали друг друга кипятком, кидались утюгами. Ну, по-всякому. И, когда они совершенно изнурялись, они в качестве судьи третейского призывали мою маму (*смеется*). Много было абсурдов. Это было постоянно. Потом уже, когда мы не уехали никуда, они, — собственно, им даже повезло, потому что если бы нас тогда выселили и нас бы там не было, то через несколько лет, когда появился Хрущев (собственно, довольно скоро он появился и стал строить хрущевки, пятиэтажки), они бы не получили все отдельные квартиры, а продолжали бы до конца века ютиться в этих комнатах. А там им довольно скоро всем выдали по трехкомнатной квартире.



Мансуровский переулок

Е. Г.: А их там много было?

О. В.: Много, да, это были большие семьи, они действительно ютились. Все это так и было.

Е. Г.: Ну о самых колоритных расскажете?

О. В.: Самые колоритные у нас были... Было такое семейство Чупровых. Дядя Аркаша и тетя Дуся, и у них были две дочери — Тоня и Аля. Дядя Аркаша работал грузчиком в магазине «Диета» на Арбате, и поэтому он часто приносил на горбу какие-нибудь продукты из магазина «Диета». Может быть, отдавали что-то такое. Один раз — вот это я помню всю жизнь, на меня сильнейшее впечатление произвело, — он принес осетра. Огромного такого пованивающего осетра, видимо, десятой свежести. Из него варили заливное, и дядя Аркаша страшно гордился. А продукты, которые он приносил... Это была семья — тетя Дуся, дядя Аркаша, Тоня с мужем и с двумя детьми, и Аля. У них на все семейство была комнатка метров семь или восемь, и еще кладовочку им квартирную [отдали]. Так они ютились. Но эта комнатка, в которой потом дочь моя росла, имела еще подпол. И дядя Аркаша существовал, в основном, в подполе, он был не очень глубокий, и он был вот так дяде Аркаше. Но он там все равно сидел, и там хранились продукты. Тетя Дуся была очень крутая. Она была привлекательная женщина, типа Людмилы Зыкиной, но немножко мельче. Крепкая, красивая, с гладкой головкой такой зачесанной, и очень боевитая, такая была командирша. Но она была одна из моих нянь, потому что, когда требовалось... У меня была постоянная няня, но иногда она капризничала. И тогда меня пасла тетя Дуся. Я ничего, кроме хороших воспоминаний про эту семью... Я у них часто паслась в их маленькой комнатке. У них было очень красиво, у них была кровать с такими изумительными шарами, в которых можно было отражаться. Изумительный петух разноцветный — копилка. Который если в него опустить монетку, то он хозяйским голосом кукарекал очень здорово.

Е. Г.: И они этим пользовались?

О. В.: Да, еще как. Я постоянно туда таскала какие-то копеечки. Такой комод и розы бумажные красные. Да, а на окнах... Тетя Дуся, если дядя Аркаша осетров дохлых таскал из «Диеты», она приносила живых рыбок. Она работала уборщицей в отделении аквариумов Московского зоопарка. И у нас у всех было — задешево, за какие-то копейки она нам продавала золотых рыбок и приносила для этих рыбок корм в огромном количестве. И эти рыбки очень быстро подыхали, потому что мы их хотели получше накормить, а корма у нас было завались. Эти вот красные червячки. И у тети Дуси тоже на окне стояли трехлитровые банки тогда, в которых, знаете, в этих трехлитровых банках все разводили в те времена чайный гриб. У них стоял чайный гриб, а в другой банке рыбки золотые. Эти рыбки постоянно дохли, но тетя Дуся приносила на следующий день новых. Так что все было нормально. Вот я не помню водоросли, водоросли она почему-то не приносила, эти бедные жили в жутких условиях. Так что этих Чупровых я любила.

Но самой любимой из чупровских, из семейства, у них была младшая дочь. Да, старшая дочь, Тоня, и муж ее Саша Тикунов, они подружились, познакомились, полюбили друг друга в лагере. Но не в пионерском. Потому что Тоня однажды украла в каком-то театре у какой-то женщины гардеробный номерок, получила по нему шубу этой женщины и хотела ее продать. Продать не удалось. Ее поймали, она оказалась в лагере. А Саша Тикунов, юноша из города Белгорода, очень симпатичный, кстати, был человек, он по малолетке попал. Какая-то там компания, разбойное нападение. И они оба отсидели. Очень, кстати, неплохие были ребята. Начитанные очень. Потому что в лагере, там все пристращались к чтению. И они вышли из лагеря. Старший их сынок там и родился, Славик. Он такой был бледненький, рожденный в неволе. А младший — крепенький, Вова, родился уже у нас в квартире. Мы с ними постоянно менялись, обменивались книгами. Собственно, когда в девять лет я прочитала «Мадам Бовари» — это благодаря Тоне, она мне дала почитать. У нас там много всяких книжных историй с ней было связано. Они читали по ночам — при такой лампочке пятнадцать ватт. В кладовке они спали. Они не помещались. Саша был очень длинный, и поэтому у него ноги... Дверь была открыта кладовки, и ноги так перегораживали коридор — прямо напротив нашей комнаты, и они читали. Я просто помню вид — вечером проходишь там, они лежат и читают книжки. Работали в типографии, кстати, оба были типографские работники.



Тетя Дуса с Олей и Славиком

А младшая дочь, Аля, была нечеловеческой красоты, просто потрясающая. Она была как какая-то актриса европейская. С изумительными темными кудрями. История про Алю такая. Когда-то Аля, когда она была ребенком... Моя бабушка, которая вела группы, учила рисовать детей московской интеллигенции, будучи российским демократически настроенным человеком, считала, как наши родственники многие, что надо облагораживать среду и нести в массы прекрасное, приохотить людей. И в свои группы она приглашала детей соседей, со двора иногда в какой-то дозе, да? И Аля была одной из ее учениц, и, видимо, очень способная, потому что, как уже я реконструировала на основании писем, Аля даже собиралась поступать в Училище 1905 года. Но все-таки генетика и окружение как-то воздействовали, и Аля в какой-то момент, подростки слегка, из подростка превратившись в девушку, стала такая икона стиля наших окрестных дворов. И всегда в нашем дворе перед Алиным окном толкалась жуткая шпана начала 50-х годов. Такие люди — они были все без имен, но с кличками, и они все одевались — все времена — одинаково. Они носили кепки, пальто довольно длинные, белые кашне и сапоги гармошкой. Вот такой был стиль, мода была такая. И они курили самокрутки или папиросы (это богатые которые). И я им завидовала — двум их умениям: они умели сплевывать, а у них почему-то у всех в передних зубах был какой-то промежуток. Они умели сплевывать, а больше мне нравилось, как они сморкались, приложив нос вот так к пальцу. Я даже пыталась, но у меня не получалось. Очень шикарно это выглядело. Они курили свой вонючий табак перед Алиным окном, а Аля — она была такая царица. Какой-то уровень этих поклонников с этой стороны двора паслись, а те, с кем она реально встречалась, с парадного и на нашей лестничной клетке. У нее были свидания. Но Аля, оказывается (это тоже мы не все знали), — у нее был жених. Ее брат двоюродный то ли троюродный, какой-то кузен, который по какому-то серьезному делу сидел в лагере. Но Аля его ждала.

И вот уже 53-й год. Произошла знаменитая бериевская амнистия. И выпустили, как вы это, наверно, знаете, естественно, не политических, а... «Холодное лето пятьдесят третьего...». И совершенно неожиданно этот кузен ни с того ни с сего где-то в июне 53-го года свалился на голову, приехал сюда, в Москву, пришел в наш двор, и эти злые, шпана в этих сапогах и белых кашне ему тут же на Альку донесли, что она ему неверна. И тогда вызвали Алю из дома. Аля вышла. Лето было холодное, правда, «холодное лето» — да, я помню, что оно было холодное. Аля вышла в пальто — незадолго до этого чудом ей достали какое-то изумительной красоты песочное пальто. Прямо совершенно как из западного фильма. Модное такое, толстый драп. Это ее спасло. С отворотами широкими, помню прекрасно, песочного цвета. И этот кузен ее пырнул прямо в сердце через это пальто. Благодаря этому пальто он не попал точно в сердце. Но надо сказать, что она выжила чудом. Дядя Аркаша, который сидел здесь же вот, прямо около окошечка своего, они сидели с тетей Дусей. Или тетя Дуса сидела, а дядя Аркаша, может, был в подполе, но она сразу это увидела. Он выскочил, прямо перескочил через подоконник — там такой был полуподвал типа, заглубленный. И заткнул эту ей рану. Прямо как мальчик спартанский — то есть не было, слава богу, не произошло большой кровопотери, потому что довольно быстро приехала карета скорой помощи. А у дяди Аркаши был такой вид... Знаете, ну абсолютно этот самый — Шариков из фильма Борко, один к одному, такой он был, этот дядя Аркаша. Это можно было вообще не нарисовать, если бы... Какой-то наивный художник мог бы очень клёво это сделать. Мне это не по силам.

Аля выжила. Чудом. Чудом выжила. Но уже к нам не вернулась, потому что к ней приходил и сидел у нее каждый день один из ее поклонников, с которыми она на парадной лестнице встречалась, Саша. Он тоже жил там — на Остоженке, в устье

Остоженки. Но это история, конечно, которая всех потрясла, весь дом до глубины души. На много лет хватило обсуждений, у меня, в частности. Я на этой истории выезжала много лет: в пионерском лагере, в школе я рассказывала эту историю во всех... Пользовалась ею. Замечательная была. С тех пор я, кстати, Алю видела только однажды. Она меня практически не узнала. Хотя мы с ней дружили, между прочим. И, между прочим, у нас была ужасная история: я из-за этой Али единственный раз поссорилась с бабушкой. Не поссорилась, а бабушка меня просто ужасно наказала, то есть, не наказала, но накричала. История эта — тоже 53-й год. То есть это было, наверно... Это было буквально за пару месяцев до этого несчастья с Алей.



Телефон в квартире на Мансуровском

Нам вдруг поставили телефон. А телефон поставили потому, что после смерти Сталина пришла к власти тройца — Хрущев, Булганин и Маленков, и Булганина с Маленковым поселили в Еропкинском переулке, где, кстати, ваши Голицыны жили, только немножко напротив: им выделили особняки купеческие. Сейчас там какие-то посольства, я уже забыла, какие. Им выделили, и они там стали жить. А чтобы — мало ли что — во всех окрестных домах, во всех квартирах вдруг явочным порядком поставили телефоны. Это было какое-то необыкновенное счастье. И Але стали звонить дружки ее. Но у нее для этих ее друзей, у нее было имя не Аля, а Мурка, и звали к телефону Мурку. И вот однажды Аля мне сказала. Она меня подозвала — мне было пять лет. Она сказала: «Оля, подойди к телефону и скажи, что Мурки нет дома». Я была польщена. Первый раз в жизни я взяла в руки телефонную трубку, боялась даже как-то и робела. Но была польщена. Я подняла трубку, и сказали: «Позовите Мурку». Я сказала: «А Мурки нет дома». И всё. И вдруг бабушка, которая еле ходила — ей было немного совершенно за семьдесят. Она просто была грузная, больная, почти слепая. Она это услышала. Она вышла — и как она меня ругала! Я только не так давно относительно поняла, в чем дело. То есть я не могла понять: я выполнила просьбу взрослого человека. Хорошо выполнила! Причем на Алю она не обращала никакого внимания вообще, даже не смотрела в ее сторону.

И вот потом я нашла письмо — Алино, которое было написано в году, наверно, 50-м или 51-м бабушке из какой-то деревни. Она написала, что, дорогая Ольга Александровна, я рисую то-то, там такие красивые тени, особенно мне нравится рисовать коз или коров. Вот я хожу — посмотрела фильм «Спортивная честь»... То есть это был период, когда она училась у бабушки, и бабушка ее так курировала, и предполагалось, что жизнь эта изменится. И вот потом уже я как бы реконструировала всю эту ситуацию, она мне стала понятна. Вот это была такая наша ссора. Это наши Чупровы. А другие соседи — тоже крутые. У нас много же было соседей. Про всех не расскажешь.

Семья Казёновых

Е. Г.: Кто утюги-то метал?

О. В.: Да, утюги метала Анна Ивановна Казёнова. Анна Ивановна — она была такая большая, рыхлая женщина, которая отличалась тем (она даже это декларировала), что женщина не должна носить штаны. Женщина — у нее должно вот это женское хозяйство проветриваться весь год. Только тогда будут рождаться здоровые дети и не будет женских болезней. Она это заявляла. Она, надо сказать, была женщина очень своеобразная, и даже моя бабушка, которая, конечно, не могла никого из них [терпеть], очень ценила ее словотворческие таланты. Я, к сожалению, кроме «перитонии», не помню ничего,

но у нее действительно было очень много. Это было семейство такое. Был Иван Иванович Казёнов, которого я не застала, но о нем сохранилось в семействе воспоминание, что Иван Иванович, который очень рано уходил на работу, на рассвете, и рано ложился спать, когда к нашим, в наше семейство приходили в гости музыканты... К примеру, был такой случай, как пришел друг семьи — такой Эмик, Эмик Гроссман, замечательный, рано умерший пианист, ученик Нейгауза. Пришел он с Генрихом Густавовичем, и Генрих Густавович чего-то играл. И Иван Иванович схватил полено, а у нас — это даже я помню — у нас там была печка такая, и поленья лежали со стороны коридора, и стал дубасить в дверь, чтобы прекратить это безобразия. Комната напротив была. Это вот история известная. Ну, Генрих Густавович, он прекрасно понимал эту ситуацию, и никаких претензий *(усмехается)*. Он сам жил в не лучших условиях.

Ивана Ивановича я не застала, а застала я Анну Ивановну Казёнову, а там, значит, было... Там еще оставались от Ивана Ивановича его собственные дочери, и у них общих было две дочери — Нюрка и Зинка. Они жили в нашей квартире. А дочери Ивана Ивановича — Дуся, Катя, Поля, Маруся и Варя — жили в подвалах нашего флигеля, еще где-то. В общем, где-то в окрестностях, во дворе, где иняз. Они там как-то расселились по подвалам. Потом они все получили квартиры, с ними все стало хорошо. Такое семейство... Те были, кстати, довольно симпатичные. Некоторые из них были моими няньками, которые иваныванычевы дочери. А дочки их совместные, Нюрка и Зинка, они были препакостные. Нюрка была самая вообще — ее весь дом ненавидел. Она была довольно красивая женщина, кстати говоря. Она была, знаете, внешне похожа на актрису Светлану Дружинину. Но при этом ужасно такая, такой простецкий вариант. Ее все ненавидели, весь дом, и одна женщина ей сказала: «Нюрка, если тебя замуж кто и возьмет — только милиционер!» И действительно: она вышла за чудесного человека — милиционера дядю Колю Панина. Прелестный. Простой человек, очень хороший. Дядя Коля Панин. Мы дружили. И он потом нас навещал, когда они уже уехали в Черемушки, он к нам приезжал. Он работал у нас в 60-м отделении милиции.

Помню, как-то пришел (я это все где-то запечатлела), и, такой, говорит, усталый: «Леш...», — папе моему говорит. «Чайку попить пришел?» Ну, какой-то ему суп дали, налили. Вот он сидит. Папа спрашивает: «Коля, а что, тяжелая смена была?» «Да. Дебош в нигерийском посольстве. А у них волосиков-то нету, у них коротенькие. Не ухватишь за волосы, как наших — пришлось за уши тащить. Уши скользкие. Устал, — говорит, — безумно!» *(Смеется.)* Дядя Коля Панин.

У них родилась Лидочка. Лысая такая девочка, долго-долго волосики не росли. А Лидочка мне запомнилась... Хотя я вообще детей маленьких любила в те времена, больше даже, чем потом. А Лидочку как учили ходить? Вот это было замечательное такое ноу-хау. Даже, наверное, не ноу-хау, а традиция. Лидочке давали в руки бутылку. Пустую бутылку из-под водки. Тогда водка продавалась самая дешевая в таких зеленоватых бутылках. Лидочке давали эту бутылку и говорили: «Держись». И она, держась за эту бутылку, шла по нашему длинному косому коридору. Если бутылку у нее забирали, она падала. Это каждый раз. Я помню, что мой папа, который прямо обожал такие сюжеты, ему нравилось, и мы это всё наблюдали. Да, вот это семейство. Они все жили, естественно, в одной комнате.

А Зинка — ей не удавалось выйти замуж, потому что, например, у нее был один человек, который за ней как-то — ну, вроде бы, у нее были какие-то шансы. Но перед этим у нее был другой, и, когда у нее был вот этот другой, она себе вот здесь вот выггла, татуировку сделала, букву «В». Его Витя звали. А второго звали как-то на другую букву, не помню, на какую. И вот он сказал, что женюсь, только если выведешь. И она травила кислотой, но ничего не получалось, все равно проступала. В общем, она не вышла замуж. Она тогда решила пойти по другому пути. Она пошла на курсы медсестер, стала медсестрой. Стала работать в какой-то больнице, и первое, что она сделала, — она вступила в партию. И, когда она вступила в партию, ее сразу сделали старшей медсестрой, и она была такая — это я уже знаю от людей, которые работали с ней (это где-то было в нашем районе), — и она стала такая лютая медсестра, такая тетка лютая. Надо сказать, ее жизнь как-то закончилась печально. Вот я сейчас забыла. Уже не у нас, она уехала. Но ее разжаловали из этих старших сестер и изгнали. Как-то ее на чем-то ужасном поймали, не помню, на чем. Врать не буду. Не хочется омрачать этот светлый образ, сочинять. Причем, что-то с ней такое нехорошее произошло.

Аня Конькова

А еще у нас была чудесная Аня Конькова. Я ее в своей книжке по-другому назвала. Она была моей первой няней, то есть в младенчестве я у нее на руках. Она была очень привлекательной женщиной — очаровательная, прелестная, — и, видимо, необыкновенно сексапильной. Необычайно. Она жила в маленькой комнатке при кухне, в такой кладовочке, очень душной. Там было метра четыре. Но на этих четырех метрах у нее каждый вечер собиралось много прекрасных молодых мужчин. Причем, это были знаете, какие времена? Это было самое начало 50-х. Значит, генофонд еще был более-менее. А мужчины эти были бывшие фронтовики все, да? То есть это были такие — они не были жирные, они были худые, они были... Молодые, надо сказать. Такие были вполне приятные мужчины. И рабочие, они работали. Это не шпана Алькина была, это была совершенно другая публика. Они были работники нашего домоуправления, работали сантехниками, не знаю, кем. Вот они все обожали совершенно Аню, но у Ани тоже был жених. И он тоже был в заключении. Нет, здесь у нее образовался такой замечательный человек, очень обаятельный. Дядя Вова Ульянов его звали. Он был сын генерала, но он был несколько деклассирован, то есть он, будучи сыном генерала, который еще был жив, работал у нас в ЖЭКе тоже кем-то типа сантехника. И у них был роман уже настоящий, у Ани с этим Вовой. А Анькин жених первоначальный был в заключении, и тоже по этой амнистии вышел этой. Кажется, тоже Владимир звали. Вот сейчас я забыла.

И это явление было такое. Это весна... Нет, не весна, начало лета. У нас открыто окно наше на первом этаже, нашей семьи. А Аня, как всегда, у нас в гостях — лежит, так раскинувшись, на нашей тахте. У нее всегда так. Она приходила, так ложилась и беседовала с моей мамой. И вдруг в проеме этого окна возникает прекрасный мужчина в светло-сером костюме, немножко голубоватом. И помню, что красавец. Огромный. И Анька наша — она такая лихая была и смелая — она так смотрит на него, чего-то ему дерзкое говорит, типа, пошел ты отсюда. А он — страшный ревнивец. В общем, кончилось тем, что он ворвался в наш дом. Мы от него никак не пострадали. Он прорвался в эту Анину каморку, распорол все ее подушки, и у нас по квартире летал несколько дней этот пух, как во время погрома еврейского где-нибудь в Бердичеве *(смеется)*. Но сюжет был другой. Порвал все ее наряды. А нарядов у нее было две штуки. Вообще нищее же время. Анька пряталась у нас, мы как-то сумели ее запереть, окна закрыть. В общем, у нас было такое: мы были в осаде. Мама, естественно, ее не выдала.

Чем закончилось? Может быть, вызвали милицию. Вот это я не помню. Но Аня осталась жива. Все у нее там разодрали. Потом, надо сказать, жизнь этой Ани сложилась замечательно, когда ее уже выселили в Черёмушки. Ей там комнату дали. А потом она исчезла с нашего горизонта навсегда. Но, как оказалось, не навсегда. Много лет спустя в нашей квартире был потоп традиционный: у нас на первом этаже все наше пространство заполнялось фекалиями со всего дома. Этот дом был трехэтажный, и у нас такой был, как в Венеции, и только вместо гондол какашки плавали.

Е. Г.: Ужас.

О. В.: Ну, нормальная такая коммунальная жизнь. Пока эта вся жидкость не уходила туда, в подвал, а подвалы у нас, как уверял нас дядя Саша Трошин с третьего этажа, связаны были с кремлевскими (*смеется*) какими-то потайными ходами. Жидкость уходила внутрь, ну, а это мы собирали — а что делать. Но приходилось вызывать аварийную команду, конечно. И вот однажды я уже взрослая, то есть мне уже сколько... Я даже, мне кажется, может быть, уже и замужем. То есть мне уже лет двадцать, наверно, было. Вот очередная такая вот история. Я уже этим занималась. Я звоню в аварийную команду, вызываю аварийную бригаду. Говорю: «Пожалуйста, Аню Конькову!» «Какую еще вам Аню Конькову?» «Ну вот диспетчера вашего!» «Что мне говорит: «Иза, это ты?» То есть за мою маму меня приняли. Я говорю: «Нет, это Оля». «Оль, ты! Оль, а сколько тебе лет?» Я говорю: «Да мне сколько-то» (не помню). «Это Аня Конькова!» Я говорю: «Господи! Аня!» А она оказалась диспетчером. И к нам тут же приехали аварийщики, тут же все откачали, все починили. Я думаю: «Какое счастье! Теперь у нас есть бласт! Настоящий, ценный бласт!» Где-то через неделю снова у нас случается потоп. Я уже звоню, совершенно уверенная в себе, и говорю: «Позовите, пожалуйста, Аню Конькову!» «Какую еще вам Аню Конькову?» «Ну вот диспетчера вашего!» «Что за наглость! Это Анна Васильевна! И фамилия ее не Конькова!» В общем, меня отчитали, но все равно прислали. Я говорю — ой, да я ее родственница! Чего-то наврала. Прислали нам. Мы с Аней потом поговорили. Оказалось, что у нее дочка в это время уже училась в 1-м меде. В общем, все в жизни сложилось. Да, значит, если дочка училась уже в 1-м меде, значит, мне уже было, наверно, лет двадцать пять. Вот сколько мне было.

Ну, соседей у нас было много. Их бесконечно можно перечислять и о них рассказывать. Все были очень своеобразные. В общем-то, у нас со всеми были самые дружеские отношения, и каждый оставил в нашей душе, в душе нашей семьи, какие-то сюжеты, словечки, образы. Хотя, конечно... Но это я обязана своим родителям, очень высокому мамину авторитету и ее какому-то человеческому или обаянию, или умению жить с любимыми людьми и, конечно, папиному дару с юмором и как-то — на этой чаше весов этот ужасный дискомфорт и ужас и на другой чаше весов что-то смешное, забавное — научить меня тоже чему-то такому. Я, конечно, близко к этому не приблизилась, но, тем не менее, есть такие сюжеты. А так-то у нас еще — я написала же целое изделие.

Е. Г.: Да, конечно. Невозможно.

О. В.: Нет, все это охватить нельзя, хотя каждый был по-своему очарователен и обаятелен.

1953: Дело врачей и смерть Сталина

Е. Г.: А как они отреагировали на события 1953 года? На смерть Сталина? Квартира ваша?

О. В.: Нет, нет, как на смерть Сталина — я не помню, как они на это отреагировали. Я помню, что предшествовало этому. Дело в том, что вообще — кто такие были наши соседи? Это были деревенские люди изначально, которые прибились к московскому берегу. Они бежали, все бежали из деревень. Ведь у нас же там самые разные люди были. Уже сейчас я как бы реконструирую эти судьбы и продолжаю это делать. Это всё были жертвы, всё были пострадавшие люди. Вот эти Чупровы и Казёновы все были деревенские люди, которые бежали из деревень, бежали, наверно, от голода, от коллективизации в разное время. Не знаю. Они все еще с довоенных времен, как я сейчас читаю. Мне среди прочего выпало письмо домработницы нашей бабушке и дедушке, которая пишет... Наши были в эвакуации, и письмо от буквально какого-то 14-го или 15-го октября 41-го года. Что такое эти дни в Москве, да? И вот благодушно эта домработница пишет, что докладываю, дома все в порядке, наши все вернулись, все (про соседей) ваши — все в порядке; я хочу успокоить вас, Ольга Александровна, особо я слежу за вашим роялем (у бабушки был такой «Бехштейн» замечательный, ей в юности подаренный отцом), я нашему домуправу сказала, чтоб на рояль мне выделил дрова, потому что инструмент может испортиться. Он не хотел, а я его заставила. Вот вы представьте: 1941 год, эвакуация из Москвы, идут люди пешком, уходят, эти наши соседи дома, у них все хорошо... Эта пасет рояль наш, наша домработница.

Какая-то там у нас была соседка — вообще-то трагическая фигура. Польша. Как она здесь оказалась, почему она в России? По-русски даже плохо говорила. У всех своя судьба. И насколько они были сталинисты? Рыданий я не помню. Я помню плач бабушки своей, это я помню очень хорошо, когда я просыпаюсь... У нас была такая — полкомнатки, низкая такая, перегородка до потолка, с той стороны бабушка, с этой стороны наша семья. И вот я просыпаюсь в какой-то пасмурный день — и в голос плачет бабушка, что совершенно для нее не характерно. Она была дама весьма аристократического устройства. Вот это я слышу. Можно представить, что все давали себе... Всё все знали, но плакала, что теперь уж точно никаких, будет еще хуже. Не от того, что у кого-то были какие-то по поводу... Все всё знали, и все всё понимали. И вот рыдала. Рыдает бабушка. Это я помню очень хорошо, эту картину. Не картину, ощущение, такое, причем, подавленное. Тогда, слава богу, никто никуда не пошел. Мама бежала, как безумная, с работы, понимая, что что-то может сейчас происходить ужасное, ей нужно быть со мной. И как, что, какая была реакция соседей?

Вот что я помню: когда спустя еще месяц, 4 апреля папа — вот это я почему-то помню, нет, потому что это не удивительно, — когда рано довольно утром открывается, запахивается дверь, входная из подъезда, вбегает папа с совершенно безумными глазами и трясет этой газетой «Правда» с криком: «Они не виноваты! Они не виноваты!» Вот с таким криком. И в это время Анна Ивановна Казёнова, которая без штанов, идет из кухни (там так надо было повернуть — и прямо рядом дверь). Она такая вся косматая была, какая-то Баба-Яга такая, и бедром открывает дверь этой своей комнаты, а в руках она держит огромную чугунную сковороду жареной картошки, вот такую, и говорит: «Да насрать мне на их, на ваших врачей!» Это я почему-то помню — видимо, от того, что папа в таком был состоянии. Вот это какие-то кадры, вдруг они возникают. Это как — бывают же очень пунктирно какие-то воспоминания. Какие-то, оказывается, ключевые, да, да. Я помню, например,

в те времена мама была ужасно такая... Все были подавлены, понятно. Конечно, меня никто в это дело не посвящал. Я даже тоже записала это для памяти. Книжка моя уже давно вышла. Я тоже бесконечно перекладываю эти письма, и что-то вдруг мое внимание привлекает.



Оля с мамой и с бабушкой

Такое письмо. Записка, написанная бабушкой. Какой-то почерк такой... Я ее почерк знаю хорошо, потому что я ее дневники расшифровывала. Какой-то такой, тревожная кардиограмма. Письмо ее приятельнице еще со времен курсов Герье. Такая была Мария Николаевна Семенова, жила в Афанасьевском переулке рядом с ломбардом. И бабушка пишет... Письмо датировано 14 января 53-го года, а письмо этой Тимашук было датировано 13-го. И бабушка пишет (а 27 января у меня день рождения), бабушка пишет этой Марии Николаевне (она была какой-то театральным художник, как я поняла — я ее очень смутно помню), что Иза (моя мама) планирует ко дню Олиного рождения кукольный спектакль с вашими куклами и очень просит, я вас прошу, помочь ей. И ответ этой Марии Николаевны, причем, видимо, то ли это черновик бабушкин... В общем, то письмо и это письмо, оба конверта у меня почему-то. Или Мария Николаевна отдала. Из чего я заключила, что письма, которые из Мансуровского переулка посылались в Афанасьевский переулок, на Арбат, в течение суток туда и обратно — так работала почта. Штемпели сохранились. И Мария Николаевна пишет... А телефона-то еще у нас не было. Тогда еще Сталин был жив, Булганин не воцарился с Маленковым у нас в Еропкинском переулке. И ответ, что я болею, не выхожу сейчас из дома, к сожалению, Ольга Александровна, простите, давайте мы перенесем этот спектакль для Оленьки на 8 марта. Вот промежуток — довольно короткий по теперешним нашим представлениям. 14 января 1953 года. Значит, начинается «дело врачей». Январь, февраль, март, 5 марта умирает Сталин. Значит, спектакль тоже состояться не мог, потому что еще Сталина не похоронили (*смеется*).

Но дело в том... Не знаю, в какой промежуток времени, — спектакль таки этот подготовили. Дедушка написал сценарий. Это была «Машенька и медведь». Мама под руководством Марии Николаевны сделала замечательную вещь: она сделала такую стайку бабочек. Это на такой палочке какой-то просто... Не знаю, с улицы принесли. Такой проволочный венчик — и на конце каждой проволочки бабочка. И, когда над ширмой, из-за которой кукольный спектакль, все это действие «Машенька и медведь», — все время порхали эти бабочки. Это было совершенно волшебю. Незаметны эти проволочки. И этот венчик у нас в доме с бабочками жил много лет. У мамы, наверно, не поднималась рука его выбросить. Потом он куда-то исчез. Такие уже запыленные эти бабочки трепещущие. Но я вспоминаю, как мы сидим, я и мои дворовые подружки, и вот спектакль, и эти бабочки. Представьте себе такое. Это можно только реконструировать. Что это было? Когда? Это, разумеется, было через год, может быть. Но вот что уложилось в этот отрезок. Какой исторический холодец (*смеется*). Не знаю, как его назвать?

А, конечно, реакция этих соседей... Нет, ничего хорошего, я думаю, никаких хороших... Но зла они на нас не держали, нет, мы продолжали дружить, как-то очень тепло друг к другу относиться, книжками обмениваться. Я не помню, чтобы они нас проклинали. У тетки моей с ними были ужасные отношения, но она была другой, она была иначе устроена. Она не теряла высоты своего социального происхождения (*смеется*).



Алексей Айзенман и Изольда Дасковская. 1950-е

А мама моя — она всяких людей повидала. Боже мой, с кем ей приходилось... Она по каким-то углам, по каким-то общежитиям. Ну, и, кроме того, она вообще всю жизнь так. Когда она уже потом, выйдя на пенсию с должности заведующей кафедрой... У меня родилась дочь. Она мне, естественно, очень помогала, очень. Потом Наташка подросла. Мама сказала: «Нет, я должна работать». Ну, обратно, пожалуйста. Ей сказали — ради бога, возвращайтесь в институт. Она говорит: «Нет, преподавать — больше никогда!» Она была этим сыта. И она пошла, и устроилась работать в нашу поликлинику районную — просто выписывать эти бюллетени в окошке. Совершенно всех потрясла там, потому что пришла наниматься на такую скромную должность, а трудовая книжка — всю жизнь одно место работы, вышла на пенсию заведующей кафедрой иностранных языков. Ну так, странно, конечно. А мама сказала: «Нет, я не хочу больше преподавать никакие языки, ничего. Все, достаточно. Попреподавала». И стала там работать. Проработала шестнадцать лет. То есть она ушла с работы в семьдесят девять лет. И до сих пор мне звонят ее сослуживицы... Ее нет на свете уже пятнадцать лет, почти шестнадцать. И все: «Ой, ну как не хватает, как не хватает». Вот, как-то так устроен человек был, замечательно. И участлива. Всегда какая-то помощь практическая. Всегда со всеми детьми, всеми, занималась всем на свете: и русским, и немецким, и я не знаю... И, конечно, благодаря ей лично, я себя чувствовала полноправным членом этого нашего коммунального коллектива, выходила в кухню, читала им стихи Пушкина, или чушь какую-нибудь, которой они меня же учили, какой-то бред, какой-нибудь «мишка косолапый по лесу идет». И как-то мне казалось — это мои родственники. Я их воспринимала прямо своими людьми. Меня ничуть не коробили их манеры, абсолютно (*смеется*). Так что да, это особый, конечно, жанр — коммунальный, который, безусловно, я абсолютно уверена, что, кто помнит, желательно бы написать, потому что... Вот я свою подругу к этому склонила. Но у нее, правда, совсем другая, другое ощущение от своего детства. Она написала трагическое произведение.

О советских праздниках и любви к Сталину

Е. Г.: А как проводили время дети до школы?

О. В.: Как дети проводили до школы? Например, я — мне не светило... Я, конечно, мечтала попасть, поступить в детский сад. Мне казалось, это прекрасно. Но — никаких шансов не было. В нашем дворе только одна девочка, моя подруга по сей день, с рождения и по сей день, она была в детском саду, потому что у нее мама работала в Музее Красной Армии, и там у них был сад-пятнадцатка (*усмехается*). Нет, в пятнадцатку я, конечно, не хотела. Я была один раз летом — меня послали в лагерь, как-то удалось. Не в лагерь, а в детский сад. Ну, а так мы болтались во дворе. Двор у нас был закрытый. Высокий-высокий брандмауэр дома, где некогда жила Ламанова. Дальше такие камерные домики, флигель, и мы... Собственно говоря, в нашем распоряжении были окрестные проходные дворы. Это был самый примитивный... Были у нас в основном девочки. Какие-то были мелкие мальчики — один или два. И девочки, они у нас были все такие, знаете, предводительницы, подвальные жительницы, очень лихие. Но я их тоже всех любила. Это были мои подруги. Они ко мне тоже относились снисходительно (*усмехается*). И мы болтались, либо часто в чьи-то дома забегали. Мамы отсутствовали. Или, даже если присутствовали, то как-то было просто. Мы мигрировали. Какие-то пряталки, какие-то штандеры... Я бы сказала, ничего интересного. У нас не было никаких тимуровских команд, ничего благородного.



Детская компания во дворе дома №5/6 по Мансуровскому переулку. Москва. 1954

Е. Г.: Это вы там в люк упали?

О. В.: Да. В люк я там как раз упала. Вот меня когда спасла Зинка Казёнова рябая с этой татуировкой невыведенной, которая стояла, так проводила свободное время — опершись на подоконник, чего там во дворе. И увидела, маме кричит: «Из! Ольга твоя в люк упала! Ольга» *(смеется)*. Я, слава богу, не совсем упала, а я была в таком толстом пальто, и я сумела так вот — я так висела над люком *(смеется)*. И мама меня успела вытащить. Но это я, конечно, помню хорошо, это такое сильное впечатление. Действительно, ничего хорошего со мной не случилось бы там, в туннеле внизу. Еще попробуй, извлеки оттуда ребенка, даже если он еще жив *(смеется)*. Меня бы, наверно, унесло в кремлевский подвал *(смеется)*. Да, а виновник этого моего падения, собственно, Димка, которого все звали Калоша, он умер год назад в Лос-Анджелесе.

Е. Г.: Калоша упала туда?

О. В.: Упала его калоша туда, и я туда — думала, нельзя ли эту калошу как-то оттуда выловить, — и сама туда. И когда он тут как-то приезжал, я говорю: «Дим!» Он там прожил целую большую жизнь — в другой стране. Я говорю: «Ты помнишь?» Он не помнил, конечно. Так что вообще я, конечно, могла бы много всего еще рассказать, но не знаю, нужно ли.

Е. Г.: А советские праздники вы отмечали?

О. В.: Советские праздники — да, мы отмечали. То есть, как мы отмечали? Соседи наши отмечали. Они варили холодец. Это было, конечно, серьезное дело. Во-первых, для начала надо было добыть свиные ножки или бычьи хвосты как минимум. Лучше всего были свиные ножки. Наши соседи в таких огромных кастрюлях сутки варили эти холодцы. Две семьи варили. Они ссорились насчет конфорок, но как-то утрясалось. Ну вот вы представьте себе. По всем правилам варили. Представляете аромат? Но, надо сказать, аромат был, в общем-то, вкусный. Такой, знаете, сытный аромат. Надо сказать, что в те времена никакой аллергии ни у кого ведь не было. Это позднейшие времена. Папе даже нравилось точно — этот аромат. Мама вообще на это не обращала, мне кажется, внимания. Я как-то никак. Эти холодцы изготавливались по всем правилам. Мама у них тоже была вроде третейского судьи. Эти две семьи несли маме на пробу свои холодцы, чтобы она определила, какой лучше. Мама холодцы в рот не брала, как я понимаю. Сейчас вот я думаю: может быть, мама с детства?.. То ли мы не покупали свинину... Ну, в общем, как-то она не ела холодцов. А папа очень любил. И папа съедал эти порции, которые нам приносили. Мама, как правило, говорила, что оба очень хорошие: Алеше показалось, что вот этот, а мне вот этот. В общем, оба. Потом эти холодцы... Они там ели их много дней, конечно, но вот этот запах, поскольку это была какая-то... Не знаю, если вода существует в трех агрегатных состояниях (твердом, жидком, газообразном), холодец, вероятно, тоже. Потому что твердое они съедали и жидкое, а вот это газообразное как-то трансформировалось. И оно из этого вкусного, сытного запаха превращалось в такую противную вонь, мерзкую. А помещение проветривалось ужасно. У нас в основном вообще не проветривалось, потому что у нас там так изгибался этот коридор, и там некуда было.

Но мы-то, дети, мы особенно... 7 ноября тоже, но особенно запомнилось 1 мая, потому что, конечно, и я тоже ждала, что мне дадут денег. Давали нам до хрущевской реформы 61-го года десять рублей — мне, во всяком случае. А после — рубль. И на эти деньги мы нашей дворовой престолярной компанией... У нас во дворе, конечно, жили еще интеллигентные дети, но их не выпускали. Девочка одна жила... А я почему-то паслась так. Не почему-то, а, собственно, вариантов не было. И мы шли на Крымскую площадь. Во-первых, мы смотрели, как парад возвращается — танки, ракеты. А потом мы покупали там, конечно, этот мячик на резинке, уйди-уйди, такой набор, а среди нас был мальчик Славик, наш сосед, рожденный в неволе

сын Саши Тикунова и Тони Чупровой, я думаю, если он сейчас жив, может быть, он олигарх. Надеюсь, что он жив. Потому что это был человек с врожденной какой-то сметкой. Он был очень тихий, не хулиган вообще. В нем была какая-то скрытая хитрость такая. Он никаких гадостей не делал, но что-то в нем было такое немножко опасненькое. Он ходил — у него были — тетя Дуся ему сшила из вельвета штаны, короткие, на таких манжетах и на лямках, и с большими карманами. И он накапливал... Каким образом накапливал? Может, из того же самого петуха, в которого я сама туда... В общем, у него было довольно к этому дню — у него был не рубль и не десять рублей дореформенных. У него было какое-то количество денег, и на эти деньги он, вероятно, еще заранее накопил много значков. И обязательно — это было традиционное его развлечение в день 1 мая и 7 ноября. А он был моложе нас всех года на два. Моложе меня года на два он был, или на год хотя бы. И вот, я помню, такая картина: Славик Тикунов стоит посреди двора и из широких карманов своих широких штанов, глубоких карманов, достает горстями значки и монеты и разбрасывает, знаете, жестом сеятеля по двору, и наши девчонки, которые старше него, некоторые там были меня существенно старше (ему, допустим, семь лет, а им девять, десять, одиннадцать), они, как безумные, это собирают, собирают, кто больше, а он так стоит и смотрит. То есть это какое-то особое предназначение у человека было. Во-первых, непонятно было, откуда у него столько денег, потому что они жили очень так, там каждая копейка на счету, хоть дядя Аркаша и приносил осетров, но все равно там как-то это было все серьезно. А у него это накапливалось. Потом вот он так это широко... Он как-то самоутверждался. Вот так мы проводили праздники.

Потом... Да, еще было у нас: некоторым везло девочкам, они выпрашивали у возвращавшихся с демонстрации людей бумажные цветы, которые, помните, делали в ветках реальных, из гофрированной бумаги делали такого типа — весна уже красна. И вот это выпрашивали, и некоторым удавалось выпросить. Нет, я, конечно, не выпрашивала. Я все-таки была, конечно, — хотя вроде мы были одна компания, но я чувствовала свою чуждость, это я не могла сделать. Хотя я мечтала. Но это считалось уже верх удачи. Это уже просто — праздники удались. Вот как-то так мы проводили — бездарно (*смеется*).

Е. Г.: На Красной площади вы как-то были.



Художники копийного цеха на первомайской демонстрации. Конец 1940-х годов

О. В.: Да. Я была однажды, видела Сталина. Это я пошла... Меня папа взял. Копийный цех пошел на демонстрацию. Это было 7 ноября 52-го года. Последняя возможность увидеть. Такой тоже серый, пасмурный день. Мы с папой пришли на какое-то место сбора, не сразу смогли найти его эту колонну. Он страшно, папа, стал волноваться, потому что это было чревато. Ему велели идти, а он, может, не пришел. Но нашли. Наконец, нашли где-то. Там пометались, и какой-то папин сослуживец — папа был мой небольшого роста, а какой-то высокий папин сослуживец посадил меня к себе на плечи, и мы проплыли мимо этой трибуны, и я, да, я видела эту серенькую фигурку. Конечно, естественно, я была уверена, что он мне лично машет. Нет, я была вообще, надо сказать, ужасная сталинистка. То есть у нас это вообще не обсуждалось дома, но я, видимо, в свете всего окружающего... Я мечтала, вот моя мечта была главная детская — чтобы меня на руки Сталин взял. А поскольку каждое... Вот 7-го ноября не помню, но 1-го мая — это была такая традиция: приводили каких-то детишек, они бежали бегом туда, на Мавзолей с цветами, с букетами цветов, и все эти вожди их брали на руки, обнимали... Ну, известная вот эта, как ее...

Е. Г.: Геля Маркизова.

О. В.: Геля Маркизова, и вот эта еще была, как ее, Господи, боже мой, вторая еще девочка, которая тоже пострадала потом, ее родственники. Ну, вылетело из головы. Вот Геля Маркизова, и еще одна была, которая хлопок собирала. И там другие тоже

поднимали. Но, конечно, к Сталину хотелось ужасно. И родители об этой мечте знали. И вот как-то раз просыпаюсь я... Наверно, мне было три — три с половиной года, уже я была очень большая девочка. То есть это был тоже какой-то май, соответственно, 51-го года. И вот 1-е мая, я просыпаюсь. Тоже день был пасмурный. Это я помню точно. И за окном так — серенькая такая, пасмурная погодка. И папа встает. А у меня еще кровать с сеткой, совсем детская. Я лежу за этой своей сеткой. Папа так стоит в ногах у этой кровати, читает газету. Да, это было, конечно, не 1 мая, а 2 мая. 2 мая. И говорит — Сталин взял на руки девочку. Показывает мне фотографию: какая-то очередная девочка на руках у Сталина или как-то прижимается. И я начинаю ужасно рыдать, что опять не я. Опять на руках у Сталина не я.

” И мама мне говорит: «Оля! Ну подумай! Ну, хорошо, ну, допустим, ты подошла бы к Сталину, и он бы тебя спросил: «Девочка, ты сосешь соску?» А я сосала соску до трех с половиной лет. То есть ночью. Причем истерически сосала. Во-первых, сосок было почему-то мало. Соски были ужасные — это были такие мерзкие, скукоженные, рыжего, горчичного цвета... Гадость. Но других не было. И они терялись — куда-нибудь под кровать. И вот если я ночью просыпалась — и не было соски, не могли ее найти, папа ночью бежал в аптеку круглосуточную покупать мне соску эту мерзкую. Иначе я рыдала, рыдала. И тут мама говорит: «Ну и что? И что ты скажешь?»

Е. Г.: Молодец мама.

О. В.: Да, и я понимаю, что... Тогда я беру эту соску, которая у меня здесь рядом на подушке лежит, и даю ее маме. «Мама, выброси соску». А перед нашим окном стоит грузовик какой-то домоуправленческий. И мама подходит к форточке и так как бы выбрасывает эту соску (на самом деле она этого не сделала). И грузовик быстро уезжает. И у меня эта картина, что моя соска попала в кузов этого грузовика и уехала. Ее нету больше. Все. Причем мама говорит: «Следующую ночь, — это я уже не помню, — ты не спала ни минуты. Мы умоляли тебя взять соску». Я не взяла. То есть вот эта мечта...

Е. Г.: Сталин помог отучить.

О. В.: Мечта попасть на руки к Сталину. На самом деле — откуда у меня эта мечта? У нас это имя не произносилось. То есть мама прекрасно себе отдавала отчет... Нет, вообще. Этого не было в доме. Но это с улицы уже, с улицы, с улицы.

Е. Г.: Пропаганда.

О. В.: Да, пропаганда квартир. Это совершенно, газеты какие-то, я там картинки какие-то разглядывала. Да, вот единственное, журнал «Крокодил», который у нас в доме был в большом количестве, потому что тетушка там служила. Я сейчас тоже думала, откуда, почему? Там близко ни у кого не было никакого вообще. Только страх один. И тем не менее. Вот так на детей, да, вот так, собственно, и происходит, и сейчас та же история. Откуда это может к детям в мозги внедриться?

Какие еще?.. Ну, историй-то вообще до фигища, но...

Е. Г.: Ой, у нас осталось сейчас девять минут.

О. В.: Ой, так еще...

Е. Г.: Давайте...

О. В.: Да, давайте. Про что вы хотите?

Е. Г.: Ну, на девять минут что мы успеем?

Джавахарлал Неру, Индира Ганди и удивительное происшествие на ВДНХ

О. В.: Вот я думаю, что бы такое, какую бы историю на девять минут. Сейчас я соображаю. А, я вам могу рассказать текст, историю — как раз на девять минут. Когда мне было семь лет, и я еще в школу не пошла, перед школой, перед первым классом, меня решили отправить в пионерский лагерь на три месяца от маминого института. Такой был очаровательный, камерный детский пионерский лагерь, где было все очень хорошо — потом как оказалось. Ну, а родители мои, естественно, были этим смущены и беспокоились. Ну, и как-то, видимо, напряжение сбросить — решили, что накануне моего отъезда мы поедем всей семьей на ВДНХ, втроем.

Е. Г.: Замечательная история.

О. В.: Вот это вы знаете, эту историю, из фейсбука. Да. Приехали мы на ВДНХ. И на ВДНХ так хорошо, замечательно. Продаются сосиски в булках, продается дюшес и лимонад. И мороженое даже там было, но до мороженого не дошло. Изумительная красота, эти потрясающие сооружения, толпы людей. Люди страшно оживлены, носятся из павильона в павильон. Потрясающий павильон Узбекистана и, там, какой-то еще — Азербайджана, где фрукты, а поскольку эта жажда фруктов, которая на всю жизнь в моем, допустим, организме... Например, мой внук, он может: «Егорушка, съешь персик». Он: «Бабушка, я не хочу». Как это может быть? Человек не хочет персик! Вот все это — мы ходим по этим замечательным свинарникам, этим хлевам, и изумительные эти...

И тут проходит слух, нам из воздуха поступает, что сейчас приедут индийцы — Джавахарлал Неру и Индира Ганди. Сейчас приедут они. Где, как, боже мой, какое счастье! Нам они так нравились. Такие необыкновенные экзотические люди. А в павильоне машиностроения! И мы с родителями рысье бежим в павильон машиностроения, и мы туда проникаем и даже

попадаем на антресоли. И даже я буквально стою у этих перил. Уже все, народу много. Мы ждем какое-то время. Но, видимо, не очень долго. И действительно — вдруг распахиваются эти двери, или они были распахнуты так. Я помню такой свет. И вот появляются в них два силуэта. В контражуре появляются два силуэта: Джавахарлал Неру в этом беленьком своем одеянии и с розой (розу он, оказывается, носил в память о жене — всегда) и тоненькая Индира, тоненькая девушка в сари, в таком каком-то покрывале, и вот они так замирают. Делают так шаг и замирают. Видимо, для того чтобы их сфотографировали. Всё. И вот в этот момент, когда они замирают, под ноги Индире Ганди падает сигарообразный какой-то предмет — со стуком. То есть на самом деле действительно — я уже так там даже и написала — что, если есть мнение, что история повторяется дважды, один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса, здесь ровно наоборот. И весь этот павильон так: «А-а-ах!» И какой-то человек бросается на этот предмет, охрана какая-то. И потом довольно быстро он поднимается — и у него в руках оказывается батон сырокопченой колбасы! И все начинают хохотать. Я говорю — как в резонанс не попали с этой антресоли. Все хохочут. Но на дворе-то 55-й год. Значит, Сталина нет, но 20-й съезд еще не случился. То есть, на самом деле, если бы нашли этого человека... Я не знаю, может, его и нашли, кого-то. Естественно, никто не сказал: «Отдайте мою колбасу». Никто не признался.



Джавахарлал Неру и Индира Ганди в московском метро. 1955. Фото с <https://m.fotostrana.ru>

И это была какая-то... Во-первых, всех эта история объединила. Все необычайно стали брататься. И дядька с нами рядом стоял, совершенно незнакомый, который тоже моих родителей молодых стал звать в павильон виноделия и сказал, что там просто разливают забесплатно. Вот можно пойти прямо. Но мои родители, конечно, никуда не пошли. Они вообще непьющие были и сказали: «Что это за бред?» В общем, мы тогда не пошли.

Но в этот павильон виноделия я попала спустя... То есть, это я должна была только поступить в первый класс, это был 55-й год, а в этот определенный павильон виноделия я попала через одиннадцать лет, когда я уже заканчивала школу. И там мы с моей подругой в поисках, как я уже в том тексте описала, выпускных белых туфель забрели на ВДНХ, и две таких девочки-комсомолки в школьных формах (мы носили же все такое: черные фартуки) — совершенно это была картина, когда мы забрели в этот павильон виноделия. Это было абсолютно как в похабном длинном анекдоте «С большой перемены», там что-то про проституток. Я не помню, но, в общем... «Откуда ты, девочка?» «Я с большой перемены». Что-то в этом роде. Вот две таких идиотки забрели в этот павильон виноделия, но, слава богу, конечно, там ничего такого ужасного произойти не могло: все-таки это ВДНХ. Но это какое-то было...



На ВДНХ. Изольда Дасковская с Олей и Мария Николаевна Калмыкова с семьей сына Алексея. 1958 г.

Я вспоминаю этот сюжет — это был абсолютно сон Татьяны Лариной, когда нас обступили какие-то местные такие, знаете. Я думаю, что они были опустившиеся, но, может быть, не настолько, такие страшные мужики, которые с необычайным воодушевлением и изумлением наблюдали, как мы реально на какие-то деньги купили себе — сначала нам дали какого-то вина грузинского, а потом нам предложили арманьяк. И мы потребили и то, и другое. Но я, правда, была очень ограничена в средствах, и поэтому я ничего больше себе не позволила. А Танька Лебёдкина — она там еще чего-то, еще чего-то выпила. В общем, я ее еле-еле выволокла уже в глубоких сумерках к этому выходу. Обошлось. Но как-то это, конечно, все связывается, и всякие другие мои ВДНХовские сюжеты, а заключить можно тем... Это вообще самый смех, вполне укладывается. Уже заканчиваю. Сейчас. Буквально неделю назад звонит мне звонкий молодой голос мужской замечательный и говорит: «Ольга Алексеевна! Вы знаете, с вами говорят с канала «Двадцать четыре»! Вы не могли бы завтра приехать на ВДНХ и рассказать про вашу встречу с Индирой Ганди и Джавахарлалом Неру?» А у меня в это время сел голос, совсем. Вирус. И я говорю: «Нет, я болею. Я не могу. Я больна». То есть этот мальчик решил, что он, видимо, позвонил какой-то женщине, которая из гроба уже, из гроба... Иначе это объяснить нельзя. И вот в тот момент, когда она просто уже в изнеможении. И он так испуганно: «Ой, извините, простите!» И бросил трубку.

Е. Г.: Бедняжка.

О. В.: Ну вообще это сильно. Я себе представила этого мальчика. Тетка, которая в 1955 году встречалась с Джавахарлалом Неру, — что она собой сейчас представляет? Это понятно. Это последние ее слова в жизни: «Прийти не могу!» *(Смеется.)* Вот так завершилась эта пасторальная история с колбасой. Благодарю за внимание.

Е. Г.: Спасибо большое.